

— Я долженъ исполнять, — отвѣчалъ уходившій управитель, — дожидаться мнѣ не велѣно.

Альфредъ, въ которомъ кровь начинала кипѣть, вскочилъ и побѣждалъ къ дядѣ.

Въ комнатѣ графа горѣла еще лампа, и люди сказали, что онъ не спитъ; какъ молнія, явился передъ нимъ племянникъ.

Графъ ходилъ въ раздумьи, съ заложенными назадъ руками.

— А, ты здѣсь! Въ такую пору!..

Онъ, казалось, смѣшался.

— Я пришелъ, — возразилъ Альфредъ, — съ просьбою, которую не могу отложить до утра.

— Что-же это такое важное?

— Въ самомъ дѣлѣ, я не могъ-бы заснуть отъ мысли, что завтра у меня отнимутъ пріятеля. Ты велѣлъ выѣхать Остапу?

— Велѣлъ.

— Въ Бѣлую Гору, въ госпиталь?

— Очень приличное мѣсто, какъ мнѣ кажется.

— Милый дядюшка, — сказалъ Альфредъ, — прошу у тебя одной милости; никогда, можетъ быть, въ жизни не пожелаю другой.

Какая-то свѣтлая мысль пробѣжала въ головѣ дяди, онъ улыбнулся.

— Скажи мнѣ, чего ты желаешь? Чтобы я далъ ему отпустить?

— Безспорно, но не то, чтобы ты отпустилъ его даромъ. Я внесу тебѣ за него то, чего онъ тебѣ стоитъ.

— Панъ Альфредъ!

— Милый дядя, это справедливо!

— Милый племянникъ, а если-бы я не хотѣлъ принять?

— Я дамъ тебѣ въ замѣнъ кого-нибудь изъ моихъ людей.

— А, конечно! Любопытно знать, кто можетъ замѣнить такого способнаго человѣка, — сказалъ насмѣшливо дядя.

— Деньги, — отрывисто возразилъ Альфредъ.

— Это требуетъ размышленія и времени, — хмурясь, сказалъ графъ. — Я, можетъ быть, совсѣмъ его не уступлю.

— Такъ нечего больше просить тебя?

— Подумаемъ.

— Но такіе поступки, съ такимъ человѣкомъ...

— Я судья моихъ дѣйствій, — сухо возразилъ графъ.

Они замолчали.

Альфредъ взялся за шляпу.

— Прощайте, — сказалъ онъ, — желаю вамъ покойной ночи.

— Какъ, прощайте?

— Я выѣзжаю завтра утромъ.

— Почему это?

— Безъ всякой причины, милый дядя!

Графъ сдѣлалъ видъ, будто разсердился, но, ничего не сказавъ, протянулъ руку и поклонился.

Альфредъ вышелъ.

Дядя потеръ руки, посмотрѣлъ на двери и сказалъ самъ себѣ:

— Отлично; избавился отъ двухъ разомъ. Что-то будетъ съ княгиней?

И снова отвѣсивъ поклонъ, потеръ руки и захохоталъ какимъ-то злымъ и безчеловѣчнымъ смѣхомъ.

VI.

Альфредъ вышелъ отъ дяди, разсерженный и смущенный, и спѣшилъ возвратиться къ себѣ, какъ вдругъ, въ корридорѣ встрѣтилъ Мизю, идущую прямо къ нему.

По ея лицу можно было видѣть, какъ она была взволнована.

— Я все слышала, — проговорила она быстро.

— Слышала?

— Вернись со мной.

— Куда?

— Пойдемъ еще разъ къ отцу, я надѣюсь его убѣдить.

— Очень тебѣ благодаренъ, отъ имени его и моего, — возразилъ Альфредъ, — но, мнѣ кажется, это напрасно. Если-бы даже рѣчь шла о жизни, и то я не сталъ бы просить два раза.

— Ты слишкомъ гордъ, милый кузень; если-бы дѣло шло о собственной жизни — такъ, но вѣдь здѣсь дѣло идетъ о чужой бѣдѣ. Развѣ ты оставишь это дѣло, не испробовавъ всѣхъ средствъ къ освобожденію Евстаѳа.

— Ты слышала, я пробовалъ, — сказалъ Альфредъ.

— Позволь мнѣ помочь тебѣ; мнѣ кажется, что я буду полезнымъ союзникомъ.

— Попробуй, Мизя, но избавь меня отъ попытокъ.

— Я буду смѣлѣе, если ты пойдешь со мной; прошу тебя, пойдемъ.

Альфредъ остановился на минуту, подумалъ и повернулся.

— Готовъ къ твоимъ услугамъ.

— Благодарю—идемъ.

Съ спокойнымъ видомъ отворила Мизя двери комнаты отца, который все еще ходилъ скорыми шагами взадъ и впередъ, бормоча что-то про себя. Увидавъ ее съ Альфредомъ, онъ остановился, пожалъ плечами и нахмурился.

— Я встрѣтила Альфреда. Онъ хочетъ завтра утромъ ѣхать. Папа, что это значить?—спросила она.

— Не знаю, — отвѣчалъ смущенно графъ, — ничего не понимаю.

— Дорогой папа — это не натурально; растолкуй мнѣ, пожалуйста. Я очень рассчитывала на пріѣздъ этихъ пановъ; а они едва показались, какъ уже оставляютъ насъ. Просту тебя, растолкуй мнѣ это.

— Я не могу принуждать Альфреда, который сказалъ мнѣ, что онъ уже совершеннолѣтній.

— Но въ чемъ же дѣло? — прервала Мизя съ нетерпѣніемъ, здѣсь есть какое-то недоразумѣніе?

— А, — добавилъ графъ, топая ногой, — не притворяйся, ты знаешь хорошо. Дѣло идетъ объ Остапѣ, изъ котораго хотѣли сдѣлать барина, чтобы онъ когда-нибудь отблагодарилъ насъ, какъ Гонта—Помощныхъ. Но этого не будетъ.

— Милый папа, — спросила Мизя: — что ты думаешь предпринять съ Остапомъ? Маменька, умирая, препоручила его мнѣ, я его покровительница. Меня онъ еще болѣе интересуешь, и я хочу знать, что ты съ нимъ сдѣлаешь.

— Я тебѣ расскажу, — произнесъ Альфредъ. — Присланный ко мнѣ управляющій принесъ ему приказаніе, чтобы онъ завтра рано ѣхалъ въ жидовской фурманкѣ въ Бѣлую Гору, гдѣ долженъ замѣнить фельдшера Мошку, съ жалованьемъ ста злотыхъ въ годъ; квартира ему будетъ отведена въ одной изъ крестьянскихъ избъ.

— Откуда вышелъ, туда пусть и возвратится, — сказалъ графъ.

— Вотъ это любопытно, — воскликнула Мизя, — развѣ онъ виноватъ, что вышелъ изъ своего положенія? — Мы-же этому виной, мы и обязаны имъ заняться.

— Ввести его въ первобытное состояніе, — сказалъ отецъ. — Прошу тебя, дорогая Мизя, не мѣшайся въ мои распоряженія и не учи меня, что я долженъ дѣлать.

— Это твое послѣднее слово, папа? — спросила смѣло Мизя.

— Кажется, на этотъ разъ послѣднее.

— Я ѣду съ Евстаѣемъ въ Бѣлую Гору, — перебилъ Альфредъ. — Я тоже учился медицинѣ; мы оба будемъ при лаваретъ.

— Вы, милостивый государь, учились медицинѣ? — закричалъ измѣнившимся голосомъ графъ. — Вы, милостивый государь, обучались медицинѣ? Ты? Этого быть не можетъ! — повторялъ онъ, все болѣе и болѣе блѣднѣя и мѣняясь въ лицѣ. — Медицинѣ? Ты, графъ, предки котораго...

— Учились воевать и наносить раны, а я лѣчить ихъ, — холодно отвѣчалъ Альфредъ.

— Альфредъ, этого быть не можетъ! — вскричалъ, подскокивъ къ нему, графъ.

— Совершенная правда, дядя, я не только обучался медицинѣ, но могу даже быть отличнымъ шорникомъ.

Графъ окончательно остоленѣлъ; Мизя, несмотря на безпокойство, которое ей причиняла эта сцена, при видѣ ужаса отца, не могла удержаться отъ смѣха. Измѣнившіяся черты лица и вытянутая физіономія графа свидѣтельствовали, какъ горько было для него признаніе Альфреда.

— Заклинаю тебя общимъ нашимъ именемъ, всѣмъ великимъ, благороднымъ и святымъ, не говори объ этомъ, не повторяй этого никому. Это просто сумасшествіе.

Альфредъ молчалъ; счастливая мысль мелькнула вдругъ въ его головѣ.

— Если ты дашь отпускную Остапу, то я буду молчать, — сказалъ онъ.

Графъ бросился въ кресла, отирая потъ съ лица и не говоря ни слова.

— Тебѣ не безызвѣстно, — отозвался онъ послѣ минутнаго молчанія, — что я далъ обѣщаніе умирающему брату быть твоимъ опекуномъ, предохранять тебя во всемъ и стараться поддержать тобою старинную знаменитость и значеніе нашего рода. Не утаю тоже отъ тебя, что имѣлъ мысль, думалъ... что можетъ быть... что если... (Тутъ онъ началъ заикаться. Мизя прервала его.)

— Ты хочешь вѣрно сказать, папа, что назначалъ меня Альфреду.

— Не назначалъ, но думалъ, надѣялся...

— Не умѣю выразить моей благодарности, — возразилъ Альфредъ, — но о такомъ счастьи я желалъ-бы спросить саму Михалину. Отъ нея лично я хочу получить согласіе, не иначе.

Мизя поблагодарила его взглядомъ. Графъ продолжалъ:

— Послѣ твоего признанія, мысль моя совершенно уничтожается, и союзъ, мною предположенный, становится невозможнымъ. Мы ужъ черезчуръ расходимся въ нашихъ понятіяхъ о будущемъ, о людяхъ, о вещахъ; ты уже слишкомъ по своему разумѣешь свѣтъ. Не будемъ болѣе и думать объ этомъ. Отпускаю на волю твоего пріятеля - цирюльника и предоставляю тебѣ полную свободу заниматься медициной и шорничествомъ; но съ этой минуты всѣ связи между нами навсегда прекращаются.

Альфредъ холодно поклонился; Мизя молчала; графъ не могъ еще перевести духъ.

— Покоряюсь и согласенъ на всѣ твои условія, дядя, получивъ полную, справедливую и формальную уступку этого чловѣка. Что-же касается до давнишнихъ проектовъ, то осуществленіе ихъ, какъ мнѣ кажется, болѣе всего зависитъ отъ самой Мизи.

-- Мизя не имѣетъ ни малѣйшаго права, — воскликнулъ графъ.

— Ты такъ думаешь, папа?

— Прошу тебя, Мизя...

— Предупреждаю тебя, папа, что я завтра отправляюсь къ теткѣ; тамъ, по крайней мѣрѣ, буду имѣть право видѣть, кого желаю. Прощай, папа, желаю тебѣ доброй ночи. И, не дождавшись отвѣта, она живо взяла руку Альфреда, повернулась и вышла. Альфредъ издали поклонился дядѣ.

Было уже около полуночи; старый графъ, погруженный въ размышленія, сидѣлъ еще за столомъ, задумавшись, и не ложился. Что происходило въ его душѣ, не беремся описывать. Каждую минуту вырывались у него восклицанія: Медикъ! Шорникъ! *C'est distingué! C'est joli! A! Шорникъ! parfait!* Но онъ, можетъ быть, жетъ! Онъ, конечно, жетъ.

Между тѣмъ, Альфредъ быстро вбѣжалъ въ свои комнаты и приказалъ укладываться.

— Ты отпущенъ на волю, — сказалъ онъ Евстаѳію, — и ѣдешь сейчасъ же, не дожидаясь утра.

— Я не могу ѣхать.

— Но я имѣю слово дяди, ты свободенъ, долженъ ѣхать со мною.

— Говорилъ я тебѣ, Альфредъ...

— Ничего не слушаю; все, что ты хочешь сказать, передашь мнѣ позже. Теперь поѣдемъ вмѣстѣ въ Скалу.

— Но я... — прервалъ еще разъ Евстаѳій.

— Заклинаю тебя всѣмъ на свѣтѣ, ѣдемъ!

Отданныя приказанія исполнены были съ необыкновенною поспѣшностью; коляска въ минуту была уложена, заложена, и мѣсяцъ не началъ еще заходить, какъ Альфредъ уже выѣхалъ, посадивъ съ собою почти насильно Евстаѳія.

Мизя, съ равнымъ нетерпѣніемъ, приказала людямъ своимъ готовиться къ дорогѣ, имѣя твердое намѣреніе отправиться къ теткѣ. Помѣстья графа, Альфреда и тетки Христины находились въ сосѣдствѣ. Нѣкогда они составляли одно большое цѣлое, раздѣленное теперь на три части; они занимали довольно значительное пространство; большая часть принадлежала графу, меньшая Альфреду, который получилъ только Скалу, съ нѣсколькими прилегавшими къ ней хуторами. Тетка Михалины, сестра графа, отличавшаяся когда-то необыкновенной красотой и славившаяся на Волыни остроуміемъ, прелестью и гостепріимствомъ своимъ, овдовѣла уже нѣсколько лѣтъ, и теперь жила въ Суровѣ съ дочерью, тоже уже вдовою.

Вліяніе тетки на Мизю было такъ велико, что оно-то и сдѣлало ее такой, какой она была. Женщина поразительной красоты, богатая, она провела одну часть своей жизни во Франціи, другую — въ краю, гдѣ привыкла къ знакамъ постоянной покор-

ности, къ уваженію, похвалямъ; она не понимала, что значить подчиниться чьей-нибудь волѣ или быть кому-нибудь послушной. Начитавшись книгъ восемнадцатаго столѣтія и новѣйшихъ авторовъ, она цѣлую жизнь подчинялась только собственной своей волѣ и доказывала, что женщина имѣетъ такое-же право на все, какое дано каждому человѣку. Не рассчитывая ни на силы, ни на собственные дарованія, она непрерывно говорила о равенствѣ правъ женщины и мужчины, объ уничтоженіи зависимости, въ которую поставили женщину мужчины. Такими сужденіями она наплатала сперва свою дочь, а потомъ Михалину, которая очень легко ей поддавалась; она состарѣлась, но нисколько не измѣнилась и осталась вѣрна своимъ убѣжденіямъ. Вдовье положеніе, доставляя ей полную независимость, вѣроятно, способствовало къ большому упорству въ этихъ убѣжденіяхъ.

Домъ пани Христины остался, по - старому, открытымъ для всѣхъ; она и дочь ея, также вдова, но бездѣтная, занимались вмѣстѣ хозяйствомъ. Дочь во всемъ раздѣляла образъ мыслей матери: но мать всѣ называли *Esprit fort*, а дочь была совершенная львица. Жизнь обѣихъ паннъ, несмотря на ихъ странныя убѣжденія, не имѣла на себѣ ни малѣйшаго пятнышка; и самые злѣйшіе враги напрасно искали бы случая чѣмъ - либо очернить ихъ. Графъ не любилъ сестру, но, по своему снисхожденію къ дочери, не могъ отвратить ея вліянія и не имѣлъ довольно смѣлости нарушить ихъ отношенія. Михалина, подъ руководствомъ тетки и панни де-Рошъ, которая была опредѣлена къ ней по рекомендаціи панни Христины, переняла совершенно образъ мыслей, царствовавшій въ Суровѣ.

Суровъ и Скала были въ сосѣдствѣ, ихъ раздѣляла одна только миля, и двѣ неполныхъ мили отдѣляли Суровъ отъ мѣсто-пробыванія графа.

На другой день утромъ, Мизя и панни де-Рошъ сѣли въ щегольское вѣнское купе и прежде, чѣмъ всталъ графъ, были уже въ Суровѣ.

Едва только графъ успѣлъ проснуться, какъ ему доложили, что бригадиръ съ сыномъ уже уѣхали, что дочь также выѣхала, и что Альфредъ съ Евстаѣемъ отправился къ себѣ.

Графъ всталъ въ очень дурномъ расположеніи духа. Къ нему явился управляющій и поспѣшилъ доложить, что распоряженіе

его, касательно Остапа, не могло быть выполнено, по случаю его выѣзда. Графъ приказалъ ему выйти вонъ.

— Не прикажете ли, ясновельможный графъ, догнать его?

— Не вмѣшивайтесь въ это, милостивый государь!

Онъ снова остался одинъ, а надо признаться, что ничто его такъ не мучило, какъ уединеніе. Читать онъ не любилъ, хозяйствомъ занимался только по обязанности, общество ему было необходимо; находясь-же одинъ, отъ нетерпѣнія переходилъ къ раздраженію, кончавшемуся безсмысленнымъ состояніемъ. Цѣлый день принимался онъ за различныя занятія, но напрасно: ничто ему не нравилось, ничто его не могло занять.

Альфредъ въ тотъ же самый день поѣхалъ въ Суровъ; уговаривалъ ѣхать съ собой и Евстаѳія, но не успѣлъ въ этомъ.

Увидавъ брата, Мизя прежде всего спросила:

— А Евстаѳій?

— Не хотѣлъ со мной ѣхать.

Пани Христина приняла Альфреда весьма нѣжно; забросала его тысячью вопросовъ и не давала ему ни минуты отдыха. Онъ долженъ былъ рассказывать имъ свой вояжъ, всѣ случившіяся съ нимъ приключенія, и описывать имъ Евстаѳія, который очень подстрекалъ ихъ любопытство. Какъ всякая необыкновенная вещь, судьба сироты занимала всѣхъ. Пани Христина, руководствуясь своимъ убѣжденіемъ, брала уже его подъ свое покровительство. Мизя-же такъ горячо, такъ живо говорила о немъ, такъ непрерывно наводила разговоръ на этотъ предметъ, что Альфредъ первый наконецъ, началъ подшучивать надъ нею.

Михалина покраснѣла и смѣшалась.

— А! а!,—воскликнула старшая хозяйка дома, помирая со смѣху,—а! мой братъ! Онъ умеръ-бы, окаменѣлъ-бы, съ ума-бы сошелъ, если-бы это могло придти ему въ голову. *Mais c'est une énormité!*

Всѣ смѣялись этому предположенію; Михалина, однако-же, менѣе всѣхъ. Альфредъ, привыкшій къ наблюденіямъ, легко замѣтилъ, что эта гипотеза ближе была къ правдѣ, чѣмъ всѣмъ это казалось.

Въ самомъ дѣлѣ, Михалина уже чувствовала непостижимое влеченіе къ единственному существу, отличавшемуся своимъ положеніемъ отъ толпы. Сперва жалость, потомъ любо-

пытство, наконецъ, можетъ быть, и духъ противорѣчія притягивали ее къ человѣку, который, какъ она говорила, *ne ressemblait pas á tout le monde*.

Наше образованное общество такъ однообразно, гладко, такъ скучно, такъ бѣдно мыслями и духомъ, что, поневолѣ, всякое существо, мало-мальски не лишенное способностей и самобытности, будетъ привлекаться людьми другого кружка. Мизя скучала въ этомъ кругу, безконечно однообразномъ. Конечно, есть люди, которымъ нравится пустая тщеславность этого круга; по живой умъ остановиться на этомъ не можетъ. Онъ ищетъ и гонится за противоположностями, за индивидуальностью, хотя-бы даже и не изящной, не *божтонной*, но зато вѣрной себѣ, самовластной. Можетъ быть, и воспоминаніе дѣтства, когда маленькому мальчику приказано было забавлять паненку, когда они часто были вмѣстѣ, способствовало къ возбужденію въ ней чувства, какъ-бы симпатіи, къ Евстаѳію.

Графъ пробылъ недѣлю въ уединеніи, ожидая дочь каждую минуту. Мизя нѣсколько разъ присылала за вещами, но не общалась возвратиться. Соскучившись, наконецъ, донельзя, и доведенный почти до отчаянія, графъ отправился въ Суровъ.

Но въ Суровѣ въ этотъ день онъ никого не засталъ дома, всѣ были приглашены на завтракъ въ Скалу. Сначала и онъ хотѣлъ было туда ѣхать, но, подумавъ, что застанетъ тамъ Евстаѳіа, возвратился домой. Евстаѳій находился еще тамъ, но уже готовился къ отъѣзду. Глубокая его грусть, страсть къ уединенію, удаленіе отъ общества, въ которомъ онъ считалъ себя лишнимъ, возбудили въ немъ, наконецъ, желаніе сдѣлать какой-нибудь рѣшительный шагъ. Онъ рѣшился ѣхать въ Варшаву, скрыться, исчезнуть. Кто знаетъ? Можетъ быть, надежда снисканія славы или какого-нибудь возвышенія понуждала его къ тому, хотя онъ въ томъ и не сознавался. Альфредъ, внимательный взоръ котораго подсмотрѣлъ уже чувства Михалины къ Евстаѳію, не противился этому, но, напротивъ, хвалилъ эту мысль.

Мизѣ неизвѣстно было его намѣреніе. Евстаѳій почтительно избѣгалъ ея общества, она-же, напротивъ, искала его.

Его надо было почти принудить показаться въ Суровѣ; завтракъ въ Скалѣ былъ сдѣланъ по совѣту Михалины.

Пани Христина начинала задумываться, видя это нескрываемое, стремительное, страстное сближеніе такой близкой ея родной съ человѣкомъ, который на ступеняхъ общественной іерархій стоялъ отъ нея такъ далеко. И она шептала Альфреду: «Пусть онъ ѣдетъ».

Завтракъ былъ на берегу рѣки, подъ тѣнью старыхъ дубовъ. Остапъ долженъ былъ тутъ присутствовать. Михалина вызывала его на разговоръ и, не стѣняясь присутствіемъ нѣсколькихъ чужихъ, осталась съ нимъ на лавкѣ, не отпускала его, несмотря на его желаніе уйти.

Положеніе Евстаѳа было мучительно. Юный, полный живыхъ, неистраченныхъ и неиспорченныхъ еще чувствъ, выставленный теперь напоказъ всему чванному барству, рядомъ съ женщиной, видимо къ нему равнодушной, онъ понималъ свое положеніе и, по чувству долга, искалъ защиты противъ рождающейся страсти. Когда начали развѣзжаться, онъ подошелъ къ Михалинѣ, которая ничего еще не знала объ его отъѣздѣ, и сказалъ ей:

— Позвольте, панна, проститься надолго, можетъ быть, навсегда.

— Какъ, развѣ панъ уѣзжаетъ? Куда?

— Долженъ и ѣду.

— Но куда-же, безъ нашего вѣдома?

— Самъ не знаю, пушусь, куда глаза глядятъ; остаться-же здѣсь не могу.

— Но отчего-же?—живо спросила Мизя.

— Альфредъ самъ совѣтуетъ мнѣ уѣхать; я вижу, что это необходимо; мнѣ горько разставаться съ тѣми, которымъ всѣмъ обязанъ, которыя, какъ крыло ангела, укрывали меня отъ всего грознаго; но я долженъ это сдѣлать; это чувство долга придаетъ мнѣ силу исполнить предположенное. Прими-же, панна, послѣдній привѣтъ отъ того, который за тебя, за отца твоего, готовъ пролить кровь, пожертвовать жизнью.

Михалина опустила голову и замолчала.

— Такъ ты ѣдешь, панъ, — сказала она послѣ минутнаго молчанія, — не смѣю отклонять тебя отъ этого, и не понимаю побуждающихъ тебя къ этому причинъ; поѣзжай, но не забывай насъ.

— Никогда! — воскликнулъ Евстаѣй съ юношескимъ жаромъ, подымая руку въ видѣ клятвы. — Никогда! Если когда-либо понадобится тебѣ жизнь моя, призови меня: я явлюсь и отдамъ ее съ удовольствіемъ.

Двѣ слезы навернулись на глазахъ дѣвушки.

Альфредъ и Евстаѣй проводили гостей до самаго Сурова. На другой день утромъ простой экипажъ, запряженный почтовыми лошадьми, унесъ въ Варшаву доктора Евстаѣя.

Не будемъ слѣдовать за нимъ, потому что должны еще остаться въ Суровѣ и Скалѣ.

Графъ, все болѣе и болѣе мучимый уединеніемъ, писалъ къ дочери, которая отвѣчала, что еще хочетъ погостить у тетки. Вдвойнѣ мучило его пребываніе ея въ Суровѣ; во-первыхъ, онъ остался одинъ, потому что всегдашніе его гости, претенденты Михалины, перенеслись всѣ въ домъ тетки; во-вторыхъ, сосѣдство Скалы и каждодневныя посѣщенія Альфреда не нравились ему. Съ того времени, какъ племянникъ признался ему, что обучался медицинѣ и шорничеству, графъ не могъ даже допустить въ себѣ мысли, чтобы дочь его вышла замужъ за чело-вѣка, который занятналъ себя ремесломъ.

Михалина сдѣлалась грустна, задумчива, серьезна. Послѣ отъѣзда Евстаѣя, она для развлеченія, предалась живописи.

Альфредъ занялся весьма дѣятельно хозяйствомъ, и съ большимъ усердіемъ началъ лѣчить крестьянъ и даже нѣкоторымъ пускать кровь! Дядя ужасался и клялся всѣмъ, что не только не желаетъ имѣть его зятемъ, но даже отвергаетъ его и какъ племянника. Понявъ обязанности пана и обязанности чело-вѣка, т. е. отношеніе его къ людямъ, Альфредъ не въ праздности и забавахъ, но въ трудѣ, началъ вести свою новую жизнь. Поѣздки къ пани Христинѣ и къ нѣкоторымъ сосѣдямъ составляли все его развлеченіе; остальное время онъ посвящалъ чтенію, разнымъ хозяйственнымъ распоряженіямъ и уходу за своими больными.

Дядя не могъ понять, какъ общество не отвергнетъ чело-вѣка, который изувѣчилъ себя ланцетомъ и громко признавался въ шорническомъ своемъ искусствѣ, какъ могли у него бывать и жить съ нимъ люди хорошаго тона. Однако же, къ невыразимому неудовольствію графа, всѣ бывали въ Скалѣ и всюду принимали Альфреда весьма привѣтливо и радушно.

Прошло полгода безъ малѣйшей переменѣ. Михалина все еще была у тетки. Графъ очень часто ѣздилъ въ-гости, ища общества, котораго напрасно ожидалъ у себя. Альфредъ не измѣнялъ разъ принятаго образа жизни. Немного успокоивало нашего пана то, что между племянникомъ и дочерью не примѣчали (о чемъ онъ заботливо освѣдомлялся). никакого усиленія дружбы, никакихъ короткихъ отношеній.

VII.

Холодный осенній вѣтеръ, сопровождаемый накрапывающимъ дождемъ, завывалъ по голымъ, желтымъ и чернѣющимъ полямъ; столбы дыма изъ крестьянскихъ трубъ развѣвались въ воздухѣ. Оставшіеся листья падали съ нагнутыхъ къ землѣ деревь; бѣгущія, сѣрыя и разбросанныя тучи шли съ сѣвера на югъ. На дворѣ уже начало смеркаться; мертвая тишина господствовала на дорогѣ, пролежавшей чрезъ селеніе графа; не видно было ни одной души; нѣсколько собакъ были на порогахъ жилищъ, которыя не топились и стояли съ выбитыми окнами и обваленными воротами. Только въ концѣ деревни работали два чело-вѣка, не взирая на позднюю пору.

Около нихъ лежалъ, на грязной землѣ, вырубленный изъ тонкаго дуба низкій крестъ, только-что обтесанный. Подлѣ выкопана была яма.

— Хмурится и темнѣетъ, — шепнулъ Ѳедька, вздыхая, — не успѣемъ кончить сегодня, а отложимъ до завтра.

— Ой, нѣтъ, братъ, коли дѣлать, такъ уже сегодня. Коли Господу Богу угодно, поставимъ поскорѣе, пусть Онъ насъ помилуетъ.

Ѳедька взглянулъ на небо и вздохнулъ.

— Хорошо-бы было, кабы Господь намъ помогъ!

— А благодѣтель нашъ говоритъ, что во всѣхъ деревняхъ, гдѣ поставили кресты, послужило это въ помощь!

— Ну, такъ понесемъ.

Съ этими словами подняли они приготовленный крестъ, опускавая его потихоньку въ яму.

— Да будетъ онъ на хвалу Господу, а намъ на спасеніе! — сказали они и начали обсыпать и убивать его землею.

— Много-ли душъ здѣсь умерло?—спросилъ Ванька.

— Не знаю, вчера съ десятерыхъ снесли на кладбище; сегодня, говорятъ, еще болѣе!

— Всякій день все больше и больше.

— И на господскомъ дворѣ начали умирать.

— Наши панъ хотѣлъ выѣхать въ городъ. Какъ-будто въ городѣ можно укрыться отъ воли Божіей.

— Развѣ уже выѣхалъ?

— Кажется, что еще нѣтъ. Но людямъ запрещено ходить на деревню и даже во флигель, гдѣ умерла жена управляющаго.

Окончивъ свое дѣло и помолясь, они отправились потихоньку по деревнѣ домой, Ѳедька задумавшись, а Ванька въ слезахъ.

— Не зачѣмъ было-бы и домой-то идти,—сказалъ онъ, приближаясь къ избѣ.— Старуха наша въ могилѣ, жена твоя и ребенокъ тоже; да и насъ то-же самое ожидаетъ. Напрасно мы пахали и засѣвали нашу землю, собирать-то за насъ будетъ кто-нибудь другой.

Пройдя нѣсколько пустыхъ избъ, они вошли, наконецъ, на свой дворъ. Оба окинули вокругъ себя грустнымъ взоромъ, какъ-бы желая кого-нибудь встрѣтить, но напрасно. Въ избѣ было тихо, и только внутри свѣтелки слышенъ былъ безпрерывный стонъ.

— Еще жива!—сказалъ Ванька.

— Воды, воды!—послышался голосъ изъ избы.

— Пойдемъ скорѣй,—воскликнулъ Ѳедька,—ей легче умирать при насъ, чѣмъ одной, какъ-будто всѣми покинутой. Говоря это, они вступили на порогъ. Посреди избы, на сыромъ полу и на кучкѣ сѣна, лежала Зоя, скорченная и покрытая худой сермягой. Трудно было ее узнать, — такъ было искривлено и изнурено слабостью румяное и полное жизни лицо ея. Потухшіе глаза едва блистали, щеки почернѣли и впали, судорожно сжатые руки старались какъ-будто укрыть сермягой обнаженные плечи, открытые уста, казалось, какъ-будто жаждали воздуха и помутившіеся взоры блуждали по избѣ. Изрѣдка она тихо издавала звуки.

— Воды! воды! холодно! жжетъ меня, холодно! Матушка, покрой! Понесите меня куда-нибудь въ теплое мѣсто. Никого нѣтъ, всѣ умерли. Иисусе Христе, взмилуйся надо мной.

Братья смотрѣли на нее со слезами.

— Если-бы ей дать чего теплаго!— сказалъ Ванька, — говорить, что это помогаетъ.

— Но откуда же взять огня?

— Можно развести.

— Но изъ чего-же? Дровъ нѣтъ.

— Есть заборъ.

Ванька вышелъ, и вскорѣ послышался трескъ передъ избой; чрезъ минуту онъ явился съ вязанкой на плечахъ. Внеся дрова, онъ сѣлъ, почувствовалъ слабость, въ глазахъ у него потемнѣло и онъ весь затрясся.

— Знаешь-ли, Федька, — сказалъ онъ, — мнѣ что-то худо.

— И тебѣ?

— Охъ, холодно! — отвѣчалъ Иванъ, — внутри холодно. Точно вѣтеръ ходитъ по мнѣ, и пальцы околѣбли. Но все-таки разведу огонь, потому что Зоѣ нужно что-нибудь теплое. Она давно уже слаба, можетъ, и выздоровѣть.

Проговоривъ послѣднія слова, онъ доташился до печки, чрезъ силу добылъ огня и началъ его раздувать; но промокшій отъ дождя кусокъ забора, не зажигался. Надо было разрубить сухую лавку, и огонь въ ту-же минуту запылалъ яркимъ пламенемъ. Больная повернула глаза на огонь и не спускала ихъ съ него. Ванька поставилъ къ огню горшокъ воды, а Федька усѣлся противъ сестры, опершись на руку и плакалъ.

Нѣсколько голосовъ слышалось на улицѣ. Федька взглянулъ въ узкое окошечко и увидалъ, что пара воловъ тащила возъ; на немъ колыхались три, рядомъ поставленные и сбитые изъ неровныхъ досокъ, гроба; старичекъ правилъ волами, а полунагой, босой и плачущій ребенокъ цѣплялся за возъ и горько рыдалъ.

— Ужъ это остальные изъ той хаты! — сказалъ Федька.

— Трое?

— Да, трое! Только Романъ живъ еще и воловъ погоняетъ, а за нимъ слѣдуетъ его внучекъ.

Пока Федька говорилъ, вдругъ возъ остановился, и раздался пронзительный крикъ, а потомъ громкій дѣтскій плачь.

— А это чте? — спросилъ Ванька, который не отходилъ отъ огня.

— Что? Старый Романъ упалъ и лежитъ, ребенокъ бро-
сился на него, а волю стали съ гробами. Что-жъ, мы такъ и
бросимъ старого Романа?

— А что-жъ намъ съ нимъ дѣлать?

— У насъ, кажется, слишкомъ достаточно мѣста, — сказалъ
Федька, — снесемъ его сюда, а я отвезу мертвыхъ и похо-
роню ихъ.

Ванька не отвѣчалъ ни слова, только всталъ и, дрожа
отъ холода, отправился къ дверямъ. Въ это время Зоя заво-
пила:

— Не оставляйте меня! Не покидайте.

— Сейчасъ воротимся, — сказалъ Федька.

На улицѣ они увидали передъ самыми воротами избы лежавшаго
старого сѣдобородаго Романа, синяго и едва живого; на остыв-
шей его груди лежалъ послѣдній его внучекъ, обнявъ шею его
своими рученками и призывая его жалобнымъ голосомъ. Два
черныхъ вола стояли, опустивъ головы и дергая возъ въ раз-
ныя стороны. Косматый, худой песъ вылъ подъ возомъ.

Ослабѣвшіе отъ болѣзни, труда и лишеній, Федька съ
Ванькой едва могли приподнять старика и, внеся его въ свѣ-
телку, положили на пустую кровать и укрыли.

Федька, взявъ заступъ, сказалъ брату: „смотри за боль-
ными, а я пойду погребать умершихъ“. Ребенокъ усѣлся у по-
стели въ безпамятствѣ находившагося старика и надрывался
отъ слезъ. Ванька грѣлся у огня и готовилъ воду.

— Воды! воды! — вопила Зоя.

— Воды! шубу! — стоналъ старикъ.

— Мамка, тятка, — звалъ, рыдая, ребенокъ.

Вѣтеръ вылъ на дворѣ и дождь, пробиваясь чрезъ гнилую
крышу, лилъ по стѣнамъ хаты. Это была страшная картина.
Едва самъ держась на ногахъ, Ванька напоилъ сперва сестру,
потомъ старого, прикрылъ ихъ, далъ ребенку остатокъ хлѣба,
развелъ побольше огонь и, прижавшись въ уголъ, болѣзненно
задремалъ. Силы понемногу оставляли его, имъ овладѣвала
дрожь и дремота.

Между порывами вѣтра доходили до слуха звуки церков-
наго звона: они то явственно звучали, то затихали и потомъ
снова прерывисто раздавались. Вѣтеръ все усиливался. Ванька

нѣсколько разъ открывалъ глаза и закрывалъ ихъ; онъ чувствовалъ, что опять грозитъ имъ какая-нибудь новая опасность; но встать, спастись не имѣлъ силы, судорожно опускался къ бревну, дрожалъ и корчился.

На дворѣ все болѣе набѣгали черныя тучи, вѣтеръ срывалъ крыши, ломалъ изогнутыя деревья. На другомъ концѣ деревни свѣтилось зарево пожара и распространялось все болѣе и болѣе. Пламя, усиливаясь, перелетало съ крыши на крышу, вѣтеръ раздувалъ его, но ни одной души не было видно.

Съ господскаго двора никто не смѣлъ показаться въ деревню, въ деревнѣ же некому было тушить пожаръ, и огонь пожиралъ опустѣвшія хаты. Только нѣсколько черныхъ тѣней двигались около огня, это были больные, которые бѣжали погрѣться. Звонъ, возбуждаемый безсильной рукой, слабо отзывался; въ это время слышался на дорогѣ колокольчикъ. Бричка, запряженная тремя лошадьми, остановилась противъ пожара. Сильный голосъ пріѣзжаго загремѣлъ надъ ушами бессмысленныхъ людей, отогрѣвавшихся передъ пылающими угольями. Огромнаго росту, сильнаго сложенія мужчина, началъ карабкаться на ближайшую, еще не сгорѣвшую крышу и отбрасывать покрывающіе ее снопы. Его примѣру послѣдовалъ кучеръ и нѣсколько прибѣжавшихъ людей. Густой и черный дымъ началъ рѣдѣть; проливной дождь помогъ имъ.

Оставивъ на крышѣ людей, пріѣхавшій Остапъ бѣгомъ отправился къ избѣ, гдѣ Ванька, Зоя и Романъ стонали въ безпамятствѣ и, не считывая уже на людей, призывали Бога на помощь.

— Гдѣ братъ, гдѣ жена его и гдѣ бабка Акулина?

Ванька вытаращилъ глаза, открылъ ротъ, но отвѣчать не могъ. Прибавивъ больше огня и сбросивъ плащъ, Остапъ со вздохомъ началъ осматривать больныхъ. Все надо было дѣлать самому: поднимать ихъ, осматривать, укрывать, поить и давать лѣкарство. Сдѣлавъ, что могъ, онъ усѣлся, подперся рукой и, утомленный, остался, какъ прикованный къ мѣсту; изрѣдка только стонъ или вздохи больныхъ выводили его изъ оцѣпенѣнія.

— Это не все, — сказалъ онъ самому себѣ. И, вставъ, собирался уже выйти, какъ въ ту минуту вошелъ Оедька съ заступомъ въ рукѣ. Братъ, молча, обнялись.

— Гдѣ бабка? — спросилъ Остапъ.

— Умерла.

— Жена твоя?

— Умерла.

— Ребенокъ твой?

— Умеръ.

— Что дѣлается на барскомъ дворѣ?

— Возвращаясь съ кладбища, я встрѣтилъ дворовыхъ людей, ѣхавшихъ за докторомъ. Панъ занемогъ.

— Во-время я прибылъ — воскликнулъ Остапъ, — некогда терять ни минуты.

И онъ бросился поспѣшно къ дверямъ.

— Куда ты, братъ?

— На барскій дворъ.

— А тебѣ туда зачѣмъ?

— Спасти папа.

Онъ скорыми шагами побѣжалъ къ барскому дому. Дворъ былъ совершенно пустъ, въ передней никого не было. Старый камердинеръ сидѣлъ на креслѣ въ залѣ и плакалъ.

— Что графъ слабъ? — спросилъ, вбѣгая, Остапъ.

— Уже нѣсколько часовъ.

— Никого нѣтъ при немъ?

— До сихъ поръ никого, кромѣ насъ. Послали увѣдомить папа Альфреда.

— Проводи меня къ нему; ты самъ знаешь, что докторъ не долженъ терять ни минуты. — Послушный старикъ стащился съ кресла, проводилъ его черезъ рядъ пустыхъ комнатъ въ барскую спальню. На кровати изъ краснаго дерева стоналъ истомленный болѣзнію старикъ, уже посинѣлый, похолодѣвшій. и почти безъ всякаго сознанія. При видѣ Евстаѳа, лицо его измѣнилось, онъ отдернулъ дрожавшую руку, уста зашевелились, желая какъ-бы что-то сказать. Больного посадили въ горячую ванну и насильно влили въ ротъ лѣкарство.

Черезъ часъ докторъ, съ гордостью и радостью, увидалъ послѣдствія своихъ стараній. Графъ крѣпко спалъ и потѣлъ.

Остапъ наблюдалъ за нимъ. Сильно взволнованный, проникнутый благодарностью, старый слуга, со слезами, уговаривалъ его отдохнуть.

Послѣ полуночи два экинажа подъѣзжали къ крыльцу. Альфредъ спѣшилъ на спасеніе дяди. Михалина, несмотря на просьбы и отсовѣтованія тетки, поспѣшила тоже къ страждущему отцу. Молодые люди встрѣтились, молча, въ залѣ, и поздоровались только взглядомъ, потомъ оба вмѣстѣ отправились въ комнату графа. Не было времени, да и некому было увѣдомить ихъ, что Остапъ предупредилъ всѣхъ. Съ большимъ удивленіемъ увидали они его, дремавшаго въ креслахъ у постели графа. Михалина отступила назадъ, покраснѣла и потомъ приблизилась къ отцу. Онъ спалъ, несмотря на изнуреніе, покойнымъ сномъ. Отъ шума входящихъ Остапъ проснулся, вскочилъ и, увидавъ стоящую надъ больнымъ Мизю, поспѣшилъ успокоить ее.

— Могу поручиться, что графъ выздоровѣетъ, — сказалъ онъ тихо, — оставимъ его въ покоѣ. Я очень счастливъ, что во-время прибылъ и успѣлъ спасти его.

Альфредъ и Михалина пожали ему руки.

— Не знаю, какое-то предчувствіе говорило мнѣ, — шепнулъ Альфредъ, — что ты долженъ быть здѣсь. Сердце говорило мнѣ, что ты здѣсь.

— А теперь, — сказалъ Евстаѣй, — оставляю васъ при немъ; мнѣ пора къ моимъ больнымъ, къ тѣмъ, которыхъ еще засталъ въ живыхъ, потому что многіе уже умерли.

Онъ отправился снова въ деревню; его никто не удерживалъ, всѣ были заняты болѣзнью графа. Приближался разсвѣтъ, вѣтеръ затихъ, пожаръ потухъ, и утреннія звѣзды блистали на блѣдномъ горизонтѣ осенняго неба. Черный дымъ еще подымался изъ остатковъ пепелища и далеко разстилался по сырой землѣ.

Въ избѣ одни спали сномъ отдохновенія, другіе — сномъ вѣчнымъ. Старый Романъ уже не жилъ, внучекъ его кончался въ страшныхъ мученіяхъ; Зоѣ и Ванькѣ было лучше. Оедька наблюдалъ за ними. Разостлавъ плащъ свой на твердой лавкѣ, Остапъ прилегъ и уснулъ на минуту. Онъ уже третью ночь не смыкалъ глазъ.

VIII.

Чрезъ два дня послѣ описанныхъ нами происшествій, графъ совершенно выздорѣлъ. Альфредъ и Мизя не отходили отъ его постели. Увидавъ ихъ, онъ протянулъ имъ руку, какъ-бы пробудясь отъ долгаго сна или какъ-будто возвратясь изъ дальней дороги.

— Я обязанъ тебѣ жизнью, — сказалъ онъ Альфреду.

— Милый дядя, ты не мнѣ ею обязанъ, а другому. Знакъ Мизи, которая боялась, чтобы имя ненавистнаго графу чело-
вѣка не слишкомъ его взволновало, остановилъ Альфреда.

— Кто же былъ тутъ? — спросилъ графъ.

— Докторъ, — отвѣчала Мизя.

— И ты, однако, возвратилась? — съ упрекомъ проговорилъ старикъ, — если-бы я не заболѣлъ, то, небось, и не вспомни-
ла-бы отца.

— Папаша, милый папаша, виновата, не брани теперь, послѣ, когда выздорѣешь.

Ему не позволяли много говорить. Графъ скоро оправился. Остатъ не показывался болѣе, но каждый вечеръ, по соглашенію съ Михалиной, проводилъ съ ней и Альфредомъ, по одному часу.

Страшная болѣзнь начала понемногу утихать, число боль-
ныхъ и умирающихъ уменьшилось. Альфредъ, поглядывая на Евстаѳа и сестру, боялся новаго ихъ сближенія. Мизя, съ большимъ усиліемъ, едва скрывала свою привязанность къ чело-
вѣку, который приближался въ ней только съ почтеніемъ, боязнью и грустью. Кажется, что притворное или истинное раз-
нодушіе Евстаѳа еще болѣе раздражало ее. Не таясь передъ Альфредомъ, она явно выражала свою сильную любовь къ Оста-
ту и часто приходила отъ него вся въ слезахъ, потому что онъ не хотѣлъ ее понять. Напрасно панна des Roches, испу-
танная, какъ и Альфредъ, возрастаніемъ такой страстной при-
вязанности безъ будущности и надежды, старалась всѣми сред-
ствами противиться и мѣшать вечернимъ свиданіямъ. Мизя, са-
модовольная, незговорчивая, всегда настаивала на своемъ.

Однажды вечеромъ, оставшись одна съ Альфредомъ, она безпокойно начала ходить отъ окна къ двери, заглядывая,

прислушиваясь, не идетъ-ли кто; громко и рѣзко начала она высказывать свое недовольство замедленіемъ визита. Братъ, наконецъ, рѣшился прямо объясниться съ ней.

— Милая Мизя, — сказалъ онъ, — ты можешь повѣрить мнѣ, что я люблю Евстаѣя, глубоко уважаю его и вполне сознаю какъ много мы ему обязаны; но твое безпокойство о немъ, твоя благодарность, мнѣ кажется, превосходить границы...

— Границы, чего? — спросила язвительно Мизя.

— Ради Бога не сердись, сестрица, вѣдь я могу ошибиться.

— Скажи-же мнѣ все, что ты думаешь; передай всю твою мысль, Альфредъ, — сказала она спокойно.

— Ты любишь его! — сказалъ онъ.

Михалина стала предъ нимъ, взглянула на него, подала ему руку и спросила тихо:

— Братъ! А если бы и такъ?

— Если это такъ, то ты несчастна, Мизя; я скорблю о тебѣ, потому что эта любовь безнадежна.

— О, знаю это, — отвѣчала она, сядя въ кресло и закрывая глаза. — Но можно ли, скажи мнѣ, приказать сердцу, чтобы оно не билось, когда оно кипитъ жизнью? Развѣ я не борюсь съ собою? Нѣтъ у меня силъ противостоять этому влеченію: это судьба моя; вѣроятно, такъ Богу угодно. Ты можешь жалѣть меня, но узнаешь силу моей страсти, если придетъ тебѣ странная мысль потушить ее. Я люблю его, Альфредъ, люблю, и развѣ это что-нибудь такое несправедливое, удивительное, неслыханное?

— Но твой отецъ?

— О, знаю; но для чего ты мнѣ напоминаешь объ этомъ? Каждая привязанность должна, конечно, скрываться за желѣзнымъ замкомъ! Мою-же развѣтетъ вѣтеръ, и унесутъ съ собой долгіе часы думъ. Знаю, что нѣтъ надежды, и поэтому-то онъ мнѣ такъ дорогъ, поэтому-то такъ безпокойно жду его, желаю его. Смѣйся надо мной, если это тебѣ нравится.

— Я скорѣе долженъ-бы плакать.

— Оставь меня въ покоѣ. Ты вѣчно шутишь. Знаешь мою тайну, пусть она при тебѣ и остается.

— Твоя тайна, милая Мизя, не тайна, какъ тебѣ это кажется.

— Какъ это?—вскочивъ, сказала Михалина,—развѣ онъ знаетъ ее?

— Онъ, не знаю; но всѣ, которые тебя окружаютъ, шепчутся и догадываются,—и тетка, и панна des Roches. Будь же скрытнѣе.

— Но развѣ это такъ замѣтно?—наивно спросила Михалина.

Альфредъ пожалъ плечами и ничего не отвѣчалъ, она же сдѣлалась грустна и задумчива на минуту, потомъ гордо поднявъ голову, сказала: „Пусть ихъ знаютъ, пусть говорятъ, развѣ это повредитъ мнѣ?“

— А если кто-нибудь, желая подслужиться, донесетъ объ этомъ твоему отцу? Знаешь-ли ты и можешь-ли ты исчислить всѣ послѣдствія? Вѣдь это можетъ быть для него смертельнымъ ударомъ.

— Но этого не можетъ быть? Кто-же бы посмѣлъ?

— О,—сказалъ Альфредъ,—не постигаю, какъ и до сихъ поръ могло это отъ него скрыться,—позднѣе же...

— Но что-же бы придумать?—спросила Мизя.—Скажи, помоги мнѣ—я, право, не знаю.

— Дорогая сестра;—съ улыбкой сказалъ Альфредъ,—послушай меня. Со всякой страстной привязанностью человѣкъ можетъ поступить двояко: поддаться ей, или бороться съ нею. Если-бы ты хотѣла послушать меня, я посовѣтовалъ-бы тебѣ борьбу. Ты сама знаешь, что любовь твоя безнадежна; для чего-же ей поддаваться? Пусть онъ уѣдетъ, и ты забудешь его.

— Забудешь! О какой легкой и прекрасный совѣтъ. Видно, Альфредъ, что ты никогда не любилъ. Забыть, можно-ли забыть? Забвеніе, это—смерть это убійство; и знаешь-ли ты, какою скорбью окунается забвеніе? И сколькими слезами и какимъ отчаяніемъ прикрывается этотъ гробъ?

При этихъ словахъ Альфредъ поблѣднѣлъ и тяжело вздохнулъ.

— Мизя, какъ ты мало знаешь меня!

Они взглянули другъ другу въ глаза и въ первый разъ другъ друга поняли.

Альфредъ упалъ въ кресла и закрылъ лицо рукой.

Михалина молчала.

— Братецъ,—отозвалась она тихо,—ты совѣтуешь мнѣ лѣкарство, которое, какъ видно, немного помогло тебѣ самому. Ты страдаешь?

— Потому, что я обрекъ себя молчанію, не надѣясь не только быть любимымъ, но даже возбудить состраданіе къ себѣ; я борюсь съ собою, терплю и жду.

Михалина притворилась, что не поняла его.

— Пусть ѣдетъ,—сказала она,—пусть ѣдетъ; вѣдь это, конечно, то, что ты хотѣлъ посовѣтовать мнѣ? Правда, это необходимо, но почему—же я не могу воспользоваться послѣдними минутами и быть съ нимъ? Еще нѣсколько часовъ, и мнѣ останется одно только воспоминаніе; не то слезное воспоминаніе, которое облегчаетъ и смягчаетъ скорби, но воспоминаніе страшное, какъ вѣчно терзающая, глубокая; сердечная рана.

Вошла панна des Roches. Они замолчали.

Спустя полчаса, явился и Евстаѣй, грустный и серьезный, какъ всегда. Альфредъ занималъ французенку разговоромъ о Парижѣ и Франціи, и Мизя и Остапъ цѣлый вечеръ тихо и шопотомъ проговорили между собою. Когда они разошлись. Альфредъ, подъ предлогомъ важнаго дѣла, взявъ пріятеля подъ руку и увелъ его къ себѣ въ комнату. Онъ чувствовалъ необходимость поговорить съ нимъ откровенно и рѣшительно о его будущности и предположеніяхъ. Не открывая ему, что видитъ что-нибудь необыкновенное, угрожающее, онъ хотѣлъ, подъ предлогомъ собственнаго блага Евстаѣя, склонить его къ отъѣзду.

— Графу всякій день лучше,—сказалъ онъ.— Несмотря на благодарность, которую онъ обязанъ тебѣ, не знаю, слѣдуетъ ли тебѣ выжидать, когда онъ будетъ въ состояніи какъ-бы сознаться тебѣ въ этомъ.

— Такъ я тотчасъ-же вуѣду.

— Если-же ты безпокоишься о своихъ, то поѣзжай въ Скалу, но не живи здѣсь.

— Я не желаю никакой благодарности,—отвѣчалъ съ гордостью Остапъ.

— Твое пребываніе здѣсь могло-бы породить въ немъ мысль объ этомъ.

Послѣднія слова Альфредъ проговорилъ такимъ озабоченнымъ и нетвердымъ голосомъ, что Остапъ остановился и посмотрѣлъ ему въ глаза. Привыкнувъ отгадывать все по

выраженію его лица, онъ легко узналъ, что Альфредъ говорилъ одно, а думалъ другое; оба стояли, смутившіеся и раскраснѣвшіеся.

— Если-бы я зналъ тебя менѣе, — сказалъ Евстаѣій, — то подумалъ-бы, что ты не открываешь мнѣ всѣхъ своихъ мыслей.

— Евстаѣій! Ты вѣришь моей дружбѣ?

— О, можешь ли ты сомнѣваться въ этомъ?

— Повѣрь-же мнѣ, что всякій мой совѣтъ происходитъ отъ моей дружеской о тебѣ заботливости.

— Вѣрю и слушаю. Ты ѣдешь въ Скалу? И я съ тобой.

— Завтра рано; — графъ уже не требуетъ нашей помощи.

А твои родные?

— Тоже! — отвѣчалъ со вздохомъ Евстаѣій.

— Такъ можемъ уѣхать?

— Поѣдемъ.

Этимъ окончился ихъ разговоръ.

На другой день утромъ, прежде чѣмъ они отправились, Михалина вышла просить ихъ къ себѣ. Цѣлую ночь провела она въ слезахъ, борясь съ собой, но ничего, кромѣ грусти, не могла себѣ добыть. Одно только религіозное воспитаніе, научающее насъ укрощать всякую страсть, можетъ дать человѣку силу, необходимую для побѣды надъ страстью. Михалина вовсе его не имѣла; привыкнувъ поступать только по своей волѣ, удовлетворять каждую мимолетную свою фантазію, она предалась въ первыя минуты, со всею живостью своего характера, возрастающему чувству. Все въ ней подстрекало эту страсть. Несбыточность ея и исключительное положеніе Евстаѣія, его глубокая грусть, испытанныя имъ преслѣдованія, его благородный характеръ и терпѣливое мужество, упорное молчаніе, когда взоръ его невольно измѣнялъ ему и высказывалъ, что происходило у него на душѣ, — все это говорило въ его пользу. Тихо росла и усиливалась любовь, но, наконецъ, дошла до такой степени, когда уже человѣкъ теряетъ бодрость, сохнетъ и умираетъ.

Цѣлую ночь продумала и проплакала Мизя; хотѣла украсить будущность какъ-нибудь надеждой, но напрасно. Ото-всюду вставали непреодолимые препятствія; она старалась

обмануть себя, но черезъ минуту сама-же открывала обманъ и горько плакала. На разсвѣтъ она сказала себѣ, что видѣла его въ послѣдній разъ.

Дорого стоитъ человѣку такое сужденіе: голова трещить, сердце разрывается, и душа какъ-бы разстается съ тѣломъ. При этой мысли бѣшенство овладѣваетъ человѣкомъ; кто благополучно переживетъ такую минуту, тотъ долженъ благодарить Бога за спасеніе. Многіе, однакоже, сходятъ съ ума, у многихъ ядъ этой горькой рѣшимости медленно, но вѣрно отравляетъ свою жизнь и преждевременно, нравственно и физически убиваетъ. Мизя не могла помириться съ мыслью о томъ, что она уже больше его не увидитъ, и послала просить къ себѣ Альфреда и Евстаѳіа.

Альфредъ принялъ это приглашеніе съ видимымъ неудовольствіемъ, но отказать не посмѣлъ. Они, молча, пошли на зовъ.

— Побудемъ минуту только, — сказалъ онъ, входя на крыльцо. — Пора намъ въ дорогу.

Евстаѳій ничего не отвѣчалъ. Лицо его, носившее всегда выраженіе тихой покорности, было блѣдно, глаза блистали, губы поблѣднѣли. Альфредъ видѣлъ это, и внутренняя мука терзала его душу.

— Что съ тобой? — спросилъ онъ, — увидавъ Евстаѳіа, хватающагося за колонну.

— Ничего, такъ, усталъ, — отвѣчалъ докторъ.

Михалина ждала ихъ на порогѣ своей комнаты; она была неузнаваема, блѣдна и смущена.

— Я хотѣла, — сказала она, — но, извините, забыла, спросить васъ, какъ должно поступать съ выздоравливающимъ отцомъ, и поэтому должна была еще разъ просить васъ придти ко мнѣ.

Предлогъ былъ придуманъ весьма неловко, потому что Евстаѳій уже далъ подробное наставленіе объ этомъ, но онъ ничего не отвѣчалъ, такъ какъ самъ былъ сконфуженъ и забылъ о томъ, что сдѣлалъ. Михалина взглянула на него и задрожала при видѣ перемѣны съ нимъ.

— Что съ вами? Панъ не здоровъ? — спросила она заботливо?

— Я? нѣтъ, — отвѣчалъ Евстаѳій, принужденно улыбаясь; — я никогда такъ хорошо не чувствовалъ себя.

Вошедшій слуга попросилъ Альфреда къ графу. Мизя и Евстаѳій остались одни, Евстаѳій такъ былъ смущенъ, что что не зналъ что говорить. окидывалъ взорами комнату, хотѣлъ улыбнуться; представлялъ изъ себя веселаго, а чуть не падалъ отъ грусти.

— Когда же мы снова увидимся,—спросила его Михалина.

— Пайна, ты знаешь, что всегда, до самой смерти, я готовъ являться по твоему зову.

— Какъ теперь,—прервала Михалина,—вы спасли жизнь моему отцу, и я не умѣю выразить вамъ, какую память оставляете вы по себѣ въ моемъ сердцѣ; память, которую ничто не изгладить, вѣчную, по крайней мѣрѣ продолжительную, какъ жизнь моя.

У Евстаѳія навернулись слезы на глазахъ.

— О, это мнѣ, — сказалъ онъ—мнѣ надо быть благодарнымъ, мнѣ надо уважать васъ всегда; вы извлекли меня изъ грязи, дали болѣе чѣмъ жизнь, потому что дали чувства и мысли, достойныя человѣка. Нѣтъ! Для этого нѣтъ выраженія.

— Но когда же, скажите мнѣ, когда мы снова увидимся?

— Я не могу быть увѣренъ и въ завтрашнемъ днѣ; но всюду, гдѣ буду, не перестану молиться, думать и уважать васъ. Вы и Альфредъ всегда будете жить въ моемъ обществѣ, изъ котораго ничто васъ не вытѣснитъ, потому что никто другой не захотѣлъ бы съ такой ангельской добротой сблизиться со мною.

— Печальное же вы имѣете понятіе о свѣтѣ; но кто же нынче осмѣлится цѣнить человѣка по чему нибудь другому, какъ не по его внутреннимъ свойствамъ?

— Но что же я такое, гдѣ мои достоинства?—сказалъ Евстаѳій, ломая руки.—Я могу заслужить только сожалѣніе, состраданіе.

— О, въ моемъ сердцѣ,—живо прервала Мизя,—чувство къ вамъ гораздо сильнѣе жалости и благодарности...

Она едва не выговорила страшнаго признанія... Но въ эту минуту Альфредъ, безпокоившійся объ оставленныхъ наединѣ, поспѣшно воѣжалъ въ комнату. Окинувъ взоромъ обоихъ, онъ догадался, что разговоръ ихъ былъ неравнодушенъ, но не могъ узнать, на чемъ онъ прервался.

— Ёдемъ,—воскликнулъ онъ, какъ-бы весело. Будь — здоро-

ва, милая кузина; ѣдемъ въ Скалу, добрый мой Евстаѳій; ты обѣщаль мнѣ остаться тамъ нѣсколько дней, а можетъ, и долѣе. Меня ждуть мои больные; вчера я получилъ увѣдомленіе, что въ одной изъ деревень показалась холера. Наша обязанность поспѣшить на помощь.

Прощаніе было почти равнодушно: такъ всѣ были смущены. Едва двери за ними затворились, Мизя вышла изъ дому въ садъ и скрылась въ густыхъ аллеяхъ. Пани des Roches, слѣдившая за каждымъ ея шагомъ, поспѣшила за ней.

Почтовый колокольчикъ все болѣе и болѣе терялся въ отдаленіи. Михалина съ біеніемъ сердца отворила калитку, выходившую на дорогу; она хотѣла еще разъ его видѣть. Какъ тѣнь, промелькнули мимо нея мчавшіяся лошади, такъ что она даже не разсмотрѣла лицъ, тѣмъ болѣе что Евстаѳій, притворяясь утомленнымъ, дремалъ, спрятавшись въ самой глубинѣ коляски.

Альфредъ разсмотрѣлъ только платье и калитку, и сказалъ про себя со вздохомъ: «Это уже непобѣдимое безуміе. Бѣдная Мизя!» Вечеромъ того-же дня, Евстаѳій лежалъ въ безпамятствѣ; Альфредъ наблюдалъ за нимъ. Сильная горячка все болѣе и болѣе ожесточалась, вырывая изъ организма силы, разумъ и память.

IX.

Евстаѳій выѣхалъ изъ Скалы, проговоривъ съ Альфредомъ всю ночь, и болѣе не показывался.

Въ это время многое измѣнилось, прошло десять лѣтъ. Старый графъ узналъ, кто спасъ его, но, несмотря на это, никогда не вспоминалъ объ Евстаѳіѣ и никогда о немъ не спрашивалъ.

Альфредъ остался въ Скалѣ, очень часто навѣщалъ дядю, дружески обходился съ Михалиной, но не показывалъ виду, что думаетъ о ней, какъ о невѣстѣ. Другіе претенденты, которыхъ приманивало возрастающее состояніе графа, исчезали одинъ за другимъ, не оставляя за собой даже и слѣдовъ. Многихъ изъ нихъ желалъ графъ; но Мизя рѣшительно объявила, что не пойдетъ ни за кого по принужденію и что при такомъ важномъ шагѣ въ жизни, хочетъ быть совершенно свободною.

Но, когда проходилъ годъ за годомъ и она выбора не дѣлала, отецъ началъ беспокоиться. Однажды утромъ, онъ даже рѣшился напомнить дочери, что пора было-бы на что-нибудь рѣшиться.

— Предоставьте это мнѣ, — отвѣчала она.

Графъ не смѣлъ настаивать.

Спустя нѣсколько времени, знатнѣйшіе соребнователи удалились и исчезли навсегда, а новые не показывались даже и изрѣдка.

Удивительные слухи начали распространяться о графинѣ. Отецъ уже помышлялъ объ Альфредѣ, тѣмъ болѣе, что Альфредъ, по возвращеніи своемъ изъ-за границы, прекрасно занимался своимъ имѣніемъ и тѣмъ умножалъ свое состояніе.

Графъ отправился въ Скалу и намекнулъ Альфреду, что данное его отцу на смертномъ одрѣ обѣщаніе должно быть исполнено, и что пора узнать объ этомъ его мнѣніе.

— Я, — сказалъ Альфредъ, — съ благодарностью приму исполненіе этого обѣщанія, но чтобы только Михалина добровольно на это согласилась.

— Старайся достигнуть этого.

— Старался, — отвѣчалъ племянникъ, — но, напрасно.

— Могу я ей сказать, что ты мнѣ объ этомъ объявилъ?

— Да, скажите ей, что я почелъ-бы за счастіе этотъ союзъ, если-бы она приняла его по доброй волѣ. Всѣ другія побужденія для нея не должны быть обязательны.

Графъ уѣхалъ. Онъ никакъ не могъ понять, почему ему было такъ трудно выдать замужъ хорошенькую, молодую и богатую дочь, и почему Альфредъ такъ холодно принялъ его предложеніе.

На другой день утромъ онъ объявилъ объ этомъ дочери.

— Я поговорю объ этомъ съ Альфредомъ, — отвѣчала она, — пусть пріѣдетъ.

Графъ поспѣшилъ дать знать ему о волѣ дочери. Вечеромъ, оставшись наединѣ съ братомъ, Мизя спросила его правда-ли, что онъ просилъ ея руки у отца.

— Да, просилъ, и этотъ союзъ осчастливитъ меня, если только ты желаешь его добровольно, безъ всякихъ внѣшнихъ побужденій.

— Ты знаешь, Альфредъ, что чувствуетъ мое сердце,—прервала она его,—нѣсколько пролетѣвшихъ лѣтъ не измѣнили меня; они отняли только всякую надежду, но теперь, какъ и прежде, я все еще люблю его. Если, несмотря на эту сердечную болѣзнь, на эту вѣчную печаль и тоску, ты хочешь взять меня, какъ друга и товарища, если хочешь сдѣлаться моимъ законнымъ защитникомъ, я буду твоей. Къ тебѣ я имѣю болѣе привязанности, болѣе уваженія, чѣмъ къ другимъ. Если-бы не онъ, чувствую, что любила-бы тебя. Хочешь-ли взять меня съ этимъ условіемъ?

Альфредъ промолчалъ минуту и потомъ сказалъ:

— Насталъ часъ признанья, дорогая моя кузина. Я тебя давно люблю.

— Я очень хорошо объ этомъ знаю.

— Я надѣялся, что, можетъ быть, время, разлука переимѣнятъ твои чувства.

— О нѣтъ, нѣтъ, никогда!—живо прервала Михалина. Кто любить, какъ я, тотъ любить навѣки.

Альфредъ печально опустилъ голову.

— Ты приказываешь мнѣ довольствоваться рукой, когда я желалъ-бы получить и сердце. Я долженъ-бы возвратить данное мнѣ слово, но не имѣю силъ.

Михалина съ состраданіемъ взглянула на благородное лицо брата, на которомъ видна была глубокая грусть.

— Кончимъ все разомъ,—сказала она.

— Окончимъ,—отвѣчалъ онъ.

Эти слова были произнесены грустно, потомъ наступило долгое молчаніе.

— Видишь, какъ я откровенна съ тобою,—добавила Михалина,—ты одинъ только узналъ мою тайну изъ собственныхъ моихъ устъ; повторяю еще разъ, я люблю его. Не сердись на меня ни за тоску мою, ни за привязанность, ни за грусть. Кто знаетъ будущее?.. Я буду бороться съ собой. Ты-же люби меня, какъ братъ любить сестру,—и такія-же чувства всегда найдешь ты въ моемъ сердцѣ.

— И это уже мнѣ дорого, когда ничего болѣе получить не могу.

— Бракъ нашъ будетъ тихій, скромный, только въ кругу

родныхъ, потомъ мы поѣдемъ въ Скалу. Не будемъ дѣлать ни большихъ приготовленій, ни веселой свадьбы. Не правда-ли?

— Я на все согласенъ; дѣлай, какъ хочешь.

Графъ не могъ понять, почему Мизя и Альфредъ непременно хотѣли обвѣнчаться такъ тихо и почти тайно. У нихъ былъ объ этомъ ужасный споръ, но Мизя поставила на своемъ. Сдѣхалось только нѣсколько родныхъ, пани Христина и ея дочь.

Бракъ совершился рано утромъ въ домово́й церкви, а послѣ обѣда молодые, согласно съ ихъ желаніемъ, отправились въ Скалу.

Это было немного по-англійски, и графъ не имѣлъ ничего сказать противъ этого, потому что всѣ иностранные обычаи считалъ хорошимъ тономъ. Жизнь нашихъ молодыхъ была тиха и спокойна, и даже счастлива въ умѣренномъ значеніи этого слова. Въ сущности, ихъ жизнь нельзя было назвать счастьемъ, а скорѣе спокойствіемъ.

Старый графъ, глядя на нихъ, говорилъ, что не видалъ въ жизни такого счастливаго супружества и такого согласія, и много утѣшался этимъ. Но не долго привелось ему наслаждаться.

Однажды за столомъ, онъ обѣлся страсбургскимъ паштейтомъ съ голландскими колбасами, заболѣлъ, благословилъ дѣтей и умеръ. Вскорѣ послѣ этого Мизя отпустила на волю всѣхъ родныхъ Евстаѳа и населила ими пожалованный имъ кусокъ земли. Этимъ ова доказала, что все еще думаетъ о немъ. Альфредъ присоединился къ этому доброму дѣлу, давъ со своей стороны щедрое пособіе. Молодые переѣхали изъ Скалы въ знакомую уже намъ деревню покойнаго графа. Михалина по-прежнему была спокойна и грустна. Альфредъ хозяйничалъ. Онъ не разъ старался узнать что-нибудь о своемъ пріятелѣ, но напрасно. Въ продолженіе этихъ десяти лѣтъ, о немъ не было никакой вѣсти, и никто не зналъ, что съ нимъ сдѣлалось.

Х.

Прекрасное раннее утро озаряло очаровательную Подолію. Ея холмы и пригорки, скалы, ручьи, рѣки, долины, старые,

развалившіеся замки, зеленые дубовые лѣса были въ полномъ блескѣ свѣжей красоты.

Въ отдаленіи бѣлѣли башня Каменца, высокая доминиканская колокольня, разукрашенный минаретъ, и множество домовъ, которые, тѣсняясь на этой удивительно высокой скалѣ, какъ-бы желали всѣхъ пріютить у себя, свидѣтельствуя, что тутъ не безопасно стѣ турокъ.

Ближе къ намъ темнѣетъ старый замокъ съ остроконечными верхушками своихъ башенъ.

Экипажъ, запряженный шестью лошадьми, тихонько приближается къ городу; изъ него съ любопытствомъ выглядываетъ красивый мужчина и прелестная головка женщины. Разбросанные по скалѣ каменные стѣны костела и знаменитый замокъ—все яснѣе и яснѣе вырисовывались. При видѣ этой неожиданной чудной картины, наши путешественники вышли изъ кареты и прошли пѣшкомъ пространство, отдѣлявшее ихъ отъ такъ называемаго Чортова моста.

Этотъ мостъ существовалъ, вѣроятно, со времени турокъ и соединялъ городъ съ древнею крѣпостью; крѣпкая стѣна необыкновенной высоты, узкимъ проходомъ, вела изъ замка собственно въ Каменецъ.

Внизу шумитъ протекающая вокругъ скалы рѣка и бѣлѣются хижинки, прицѣпленные, какъ гнѣзда ласточекъ, въ глубинѣ и по бокамъ горъ.

Восхитительный видъ!

Альфредъ и Мизя простояли тутъ долго въ раздумьѣ и упоеніи. Но это только еще преддверіе несравненнаго Каменца. Цѣлый день потомъ, подстрекаемые любопытствомъ, они обходили всѣ эти остатки прошлаго, этотъ дорогой памятникъ давнихъ временъ, который, какъ и все на свѣтѣ, сбрасываетъ уже по немногу старое одѣяніе, чтобы надѣть новое. Не знаю, который изъ нашихъ городовъ можетъ похвалиться такими древними памятниками, какіе—въ Каменцѣ. На каждой улицѣ привлекаютъ вниманіе то старые гербы, вырѣзанные на камнѣ, то надписи, то разные знаки, то преданія. Кругомъ—развалины великолѣпныхъ оборонительныхъ башенъ. Здѣсь все заставляетъ думать о прошедшемъ. Отсюду очаровательные, живописные виды. Здѣсь видны, возлѣ станиславскихъ, ягел-

лонскіе орлы и турецкія цифры, на Польскихъ воротахъ старыя гербовыя знаки шестнадцатаго столѣтія. Вотъ домъ, замѣчательный пребываніемъ Станислава-Августа, и нечѣмъ ему похвалиться; на рѣшеткѣ другого дома видны гербы литовской княжеской фамиліи, изъ развалинъ судебного дома надпись надъ окнами свидѣтельствуетъ о знаменитости и великолѣпнѣишемъ прошедшаго:

„Nolite judicare!“

Надъ дверьми строенія, служившаго собраніемъ для совѣщаній, на заложеномъ въ стѣнѣ камнѣ виднѣется насмѣшливая надпись:

„Domine! conserva nos in pace“.

Это—просьба угнетенныхъ турками жителей Каменца!

Начиная съ карвасоровъ, съ польскихъ помѣстій, повсюду удивляешься числу этихъ памятниковъ, соединенныхъ на такомъ маломъ пространствѣ. Въ Ветерискихъ воротахъ, которыя ведутъ изъ польскихъ помѣстій, привлекаетъ надпись, а еще болѣе остатки крытаго моста и красивыхъ развалинъ. Какой чудный видъ! Всѣ скалы, обдѣланныя какъ-бы стараніемъ людскихъ рукъ и испещренныя дорожками, кажутся огромнымъ муравейникомъ, среди котораго снуютъ муравьи. Что за видъ съ валовъ! Каждый камень носитъ слѣды человѣческой ноги; заросшія даже мхомъ, замазанныя, залѣпленные, поврежденные и умышленно раззоренные, онѣ заключаютъ въ себѣ надпись памятника.

Но болѣе всего обращаютъ вниманіе два остатка древности. Въ доминиканскомъ костелѣ—амвонъ, удивительной въ своемъ родѣ красоты, высѣченный изъ одного огромнаго куска гранита, украшенный сверху надписью изъ Алькорана. Оригинальность рисунка, утонченность исполненія описать невозможно, ихъ нужно видѣть. Очень жаль, что его неудачно выкрасили и въ срединѣ поставили ангеловъ. Слѣдовало оставить его безъ малѣйшей перемѣны. Католическій священникъ, проповѣдующій съ него, былъ-бы ему лучшимъ украшеніемъ.

Въ соборѣ, какъ свѣча, прилѣпленная къ одной изъ его сторонъ, выдается тонкій, красивый минаретъ. На верху его мѣсяцъ, на которомъ поставлено изображеніе Божіей Матери. Что за поэтическая мысль!

Внутри круглая лѣстница въ полтораста слишкомъ ступенекъ ведетъ на крылечко, съ котораго мUEDзинъ призывалъ ,
правовѣрныхъ на молитву.

Темные внутри собора древніе своды дополняютъ впечатлѣніе, производимое этимъ зданіемъ.

Цѣлый день Альфредъ и Михалина гуляли по Каменцу изъ конца въ конецъ; наконецъ, усталые, они усѣлись на валу, гдѣ могли отдохнуть, наслаждаясь красотою природы. Видный отовсюду замокъ будилъ въ душѣ много воспоминаній.

Исчезнувшія навѣки знаменитыя имена невольно приходятъ на память. Въмѣсто нихъ видишь теперь имена легко обогатившихся, невѣдомо откуда явившихся пришлецовъ. Они заботятся только набить себѣ карманы и вовсе не сознаютъ обязанности прославить свое имя чѣмъ-нибудь полезнымъ для отчизны. Думать не о своемъ только добрѣ, а и объ общемъ, какъ-то стало странно. А еще не такъ давно древнія имена достигали славы кровью и жертвами.

Такъ думалъ Альфредъ, припоминая, сколько пролито было польской крови подъ Каменцомъ, Хотиномъ, на Волыни и въ Буковинѣ, и притомъ крови самыхъ знаменитыхъ людей. А теперь, отъ новыхъ пановъ и панычей, не добьешься въ минуту опасности и одной капли крови.

Гордая и самолюбивая аристократія была большимъ зломъ для края, но все-же она отличалась великими дѣяніями и безчисленными жертвами. Со славными именами окончились и славныя дѣла. Размышляя о прошедшемъ, Альфредъ вдругъ повернулся и вскочилъ съ лавки, на которой сидѣлъ съ женой. Мимо нихъ прошелъ странно одѣтый челоувѣкъ, видъ котораго изумилъ Альфреда. Мизя тоже взглянула на него, поблѣднѣла и отвернулася; проходившій исчезъ. Онъ былъ одѣтъ очень просто—въ крестьянскомъ платьѣ, съ палкою въ рукѣ, въ соломенной шляпѣ. Прохожій, напоминавшій Евстаѳія, скрылся за деревьями.

Альфредъ хотѣлъ бѣжать за нимъ, но, послѣ минутнаго размышленія, остался на мѣстѣ. Они оба его видѣли, но каждый изъ нихъ старался скрыть неожиданную радость и безпокойство.

Они нарочно долго просидѣли на лавкѣ, въ надеждѣ вновь увидать его, медленно возвращались домой, думая его случайно встрѣтить, но напрасно.

Вѣроятно, вамъ извѣстны подольскія живописныя окрестности; грѣшно ѣхать въ дальніе края, не насладившись сперва красотами своей родины. Артистъ, который поѣхалъ бы искать тамъ вдохновенія и древностей, возвратился-бы съ обильною добычею.

Альфредъ и Мизя остановились недалеко отъ подольской столицы, у родныхъ, гдѣ намѣревались побыть нѣсколько дней. Артистъ въ душѣ, Альфредъ обѣждалъ все мѣста; съ палкой въ рукѣ, пускался по утесамъ; обходилъ пещеры и развалины. Въ одинъ день вечеромъ, въ ясную погоду, при сѣверномъ холодномъ вѣтрѣ, онъ зашелъ далѣе обыкновеннаго. Каждый холмъ привлекалъ его, обѣщая новый видъ; красота утесистыхъ мѣстъ влекла его все далѣе и далѣе своею рѣдкостью. Взбираясь съ пригорка на пригорокъ, изъ лѣса въ лѣсъ, съ утеса на утесъ, Альфредъ, наконецъ, заблудился. Утомленный, онъ сѣлъ на камень, думая, что объ немъ будутъ беспокоиться, если онъ опоздаетъ возвратиться. Проходившій въ это время крестьянинъ, увидавъ его сидящимъ на холмѣ, остановился и, поклонясь, спросилъ:

— А что, панъ, не заблудился-ли?

— Почти, мой милый, не знаю, право, какъ я дойду назадъ до Н, а усталъ-таки я порядкомъ.

— Вы могли-бы отдохнуть тутъ недалеко, у Бондарчука.

При такомъ знакомѣ, хотя очень обыкновенномъ въ этомъ краю имени, Альфредъ изумился.

— Гдѣ-же живетъ этотъ Бондарчукъ?

— Въ ярѣ, недалеко. Вотъ, тамъ виденъ хуторокъ.

— Что-же онъ, крѣпостной чей-нибудь?

— А Богъ его знаетъ.

— Хозяинъ?

— Нѣтъ, панъ, такъ, добрый человѣкъ, не знаемъ сами, откуда: намъ Богъ его, какъ-бы съ неба, послалъ. Поселился въ этомъ ярѣ, построилъ домикъ, огородилъ садикъ, завелъ пчелъ.

Альфредъ началъ думать, что онъ неожиданно попалъ къ

пріятелю. Все болѣе и болѣе убѣждаясь въ этой мысли, онъ подошелъ къ крестьянину, стараясь выпытать у него нужныя свѣдѣнія.

— Что, онъ уже старый человѣкъ?

— Кажись, не старый, хотя борода и дѣлаетъ его старымъ. Никто не знаетъ, откуда онъ пришелъ, кто ему далъ этотъ клочокъ земли. Для насъ, сосѣдей, Богъ его далъ. Теперь есть съ кѣмъ посовѣтоваться, получить облегченіе въ болѣзни, въ бѣдѣ; мы очень привыкли къ нему. Вотъ я теперь засѣкъ ногу топоромъ и иду къ нему. Онъ знаетъ травы, дѣлаетъ пластыри и многимъ помогаетъ. Сестра у меня была больна безъ надежды, у всѣхъ лѣчилась, призывала даже и цырюльника, никто не помогъ, а онъ написалъ что-то такое, велѣлъ снести записку въ Каменецъ, а тамъ всѣ очень удивились и дали скляночку: едва сестра приняла половину, какъ уже встала на ноги. И не намъ однимъ онъ такъ удачно помогаетъ, всѣ за него Бога молятъ.

Изъ этого разсказа Альфредъ убѣдился, что случай навелъ его на слѣдъ пріятеля. Съ біеніемъ сердца, шелъ онъ протоптанной дорожкой къ указанному хутору. Солнце уже почти закатилось, и послѣдніе лучи его отражались на верхушкахъ деревь, весь яръ объять уже былъ сумракомъ и дышалъ холоднымъ вѣтромъ. Распустившіеся цвѣты мелиссы, шишеника и другихъ травъ наполняли воздухъ благоуханіемъ. Густо сплетшіяся березы, дубы, орѣшникъ, загораживали домикъ, только синія струйка дыма, взвиваясь къ верху, возвѣщала о человѣческомъ пребываніи. Дни подошли, наконецъ, къ окруженному терновникомъ валу, крестьянинъ тотчасъ-же отворилъ ворота.

Альфредъ увидалъ маленькую, бѣлую избушку у двухъ окнахъ, съ одними дверями и съ трубою, торчащею изъ соломенной крыши. Два старые кривые дуба охраняли ее своими листьями, а поляна, заросшая густымъ лѣсомъ, окружала ее за валомъ. Съ сѣверной стороны—утесистая гора съ выдавшимися сѣрыми отломками, чрезъ которую пробивалась зелень, совершенно закрывала это тайное убѣжище. Между скалъ, узенькій, чистый ручеекъ стекалъ на каменья и разливался въ глубинѣ утеса по глубокому вырытому руслу. Тишина прелестнаго вечера прерывалась только говоромъ колеблющихся отъ дуно-

венія вѣтра деревьевъ. Они вошли на дворикъ; у порога залаяла собака, подняла голову и осталась съ выпученными глазами, какъ-бы желая распознать вошедшихъ. Этотъ маленький домикъ прилегалъ къ другому небольшому строенію. Оба строенія были окружены садикомъ, засаженнымъ фруктовыми деревьями, огородными овощами и лѣкарственными растеніями. Въ немъ были поставлены въ нѣсколько рядовъ соломенные стулья. Подъ старымъ дубомъ—большой кусокъ скалы, брошенный какъ-бы умышленно, служилъ вмѣсто лавки.

Маленькія сѣни раздѣляли домикъ на двѣ части; крестьянинъ показалъ Альфреду нальво. Онъ уже не сомнѣвался, что послѣ десятилѣтней разлуки наконецъ найдетъ давнишняго своего товарища—и отворилъ двери. Въ маленькой избушкѣ, бѣлой и чистой, освѣщенной двумя окнами, сидѣлъ за столомъ, нагнувшійся надъ книгою мужчина, одѣтый по-крестьянски, съ отпущенною золотистою бородой, съ открытою, почти лысою головою, съ впалыми, блѣдными щеками. Это былъ тотъ самый человекъ, котораго Альфредъ случайно встрѣтилъ въ Каменцѣ.

Въ этой избѣ ничего не было, кромѣ стола, лавки, двухъ простыхъ деревянныхъ стульевъ, полки съ нѣсколькими книжками и маленькой аптечки. Надъ каминомъ висѣлъ литографированный портретъ Альфреда, писанный, когда еще они были въ университетѣ.

При стукѣ отворяющейся двери, Остапъ повернулъ голову, узналъ Альфреда, вскрикнулъ и бросился къ нему съ распростертыми объятіями.

— Ты здѣсь!—воскликнулъ онъ,—ты у меня!..

Они крѣпко обнялись.

Альфредъ разсказалъ о томъ, какъ случайно открылъ онъ жилище Евстаѳія. Далѣе у нихъ завязался безконечный разговоръ.

— Давно-ли ты тутъ живешь?—спросилъ Альфредъ.

— Нѣсколько лѣтъ,—отвѣчалъ Остапъ.—Въ вашей сторонѣ, самъ, знаешь, мнѣ нельзя оставаться; я искалъ скрытнаго мѣста, купилъ клочокъ земли и построился, какъ желалъ. Я покоенъ и доволенъ моимъ положеніемъ: близокъ съ тѣми, которыхъ зову братьями, служу имъ наставникомъ, утѣшителемъ и, безъ большихъ издержекъ, даже благодѣ-

лемъ. Гдѣ-же мнѣ было-бы лучше? Нигдѣ. Поди, посмотри мой садикъ.

Они вышли подъ старый дубъ, гдѣ находился обломокъ скалы. Тутъ Альфредъ увидалъ высѣченную въ горѣ глубокую пещеру, обросшую, при входѣ, хмѣлемъ. Надъ нею былъ крестъ, сдѣланный изъ двухъ простыхъ бревенъ, подъ крестомъ лежалъ камень, служившій для отдыха. Къ нему вела узкая тропинка.

Альфредъ почувствовалъ, какъ счастлива должна быть жизнь въ такомъ убѣжищѣ для человѣка, который долженъ искать единенія.

— Хочешь-ли знать, какъ я провожу жизнь? — спросилъ Евстаѳій. Дни за днями проходятъ одинаково, кажется медленно; однако незамѣтно ведутъ къ общей цѣли, къ смерти. Одинъ со старымъ слугою, который обрекъ себя на монашеское со мною заточеніе, и съ собакою, которая встрѣчаетъ меня при возвращеніи, живу я цѣлый годъ. Рѣдко какая-нибудь нужда вызываетъ меня въ городъ. Всякій день сосѣди приходятъ ко мнѣ за совѣтами и за лѣкарствами; этого для меня самое пріятное занятіе; иногда-же самъ отправляюсь по деревнямъ и отыскиваю больныхъ. Сколько разъ, спасая мать, отца и ребенка, я благословлялъ тебя за то, что ты мнѣ позволилъ съ тобою учиться. Остальное время смотрю за пчелами, читаю, копаюсь въ саду. Простая жизнь, такая, какую вели древніе монахи и надъ которою смѣется нынѣшняя цивилизація. Сколько разъ мнѣ на мысль приходила непреложная необходимость монастырей. Можно легко, вмѣстѣ съ протестантами, издѣваться надъ монахами и затворниками, но многіе обрѣли въ нихъ покой, котораго напрасно искали повсюду.

Пославъ крестьянина къ женѣ съ запиской, Альфредъ остался ночевать на Бондарчуковомъ хуторѣ, какъ его звали въ околоткѣ. До поздней ночи ихъ занимали воспоминанія молодости, рассказы приключеній въ знакомой имъ сторонѣ. На другой день рано они снова должны были разстаться. Безъ видимой печали, спокойно, принявъ Остапъ извѣстіе о замужествѣ Михалины; онъ не далъ замѣтить, что его соединяла съ ней не одна благодарность.

Смерть графа, отпускъ Михалиной на волю родныхъ, тронули его до слезъ. И не удивляйтесь этому: уединеніе возноситъ человека, смягчаетъ и, пожалуй, экзальтируетъ. Находясь постоянно въ свѣтѣ, мы утрачиваемъ понемногу способность глубоко чувствовать, сосредоточиваемся сами въ себѣ и черствеемъ. Въ уединеніи-же всякое впечатлѣніе сильнѣе и продолжительнѣе.

Солнце взошло уже высоко, когда Альфредъ, сопровождаемый Остапомъ, вышелъ изъ этого бѣднаго жилища.

— Вотъ я нашелъ тебя,—сказалъ онъ Остапу дорогой.— Почему-же тебѣ не придти когда-нибудь къ намъ, къ своимъ, къ тѣмъ, которые любятъ тебя?

— Никогда, никогда,—отвѣчалъ Остапъ,—я обрекъ себя пустынной жизни; оставь меня въ ней. Для чего я нуженъ вамъ? Мнѣ здѣсь лучше, повѣрь мнѣ.

— Но вѣдь пустытники и монахи показывались и показываются иногда въ міръ: почему-же тебѣ, добровольному затворнику, не взглянуть на него?

— Я отвыкъ отъ него; я уже не воспитанникъ берлинскаго университета, котораго ты зналъ когда-то. Одежда, мысли—все измѣнилось во мнѣ. Одно осталось старое: пріязнь и благодарность къ тебѣ и убѣжденіе въ томъ, что между вами нѣтъ мнѣ мѣста. Прощай, будь здоровъ.

Этимъ оканчивается первая половина жизни Остапа Бондарчука.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

I.

Въ прекрасный весенній вечеръ, на мшистомъ обломкѣ, подъ крестомъ, сидѣлъ Остапъ; грустное выраженіе лица его, казалось, было у него врожденнымъ. Онъ мечталъ о своихъ молодыхъ годахъ, о невозвратимомъ прошедшемъ. Остатокъ дней моихъ,—думалъ онъ, принадлежитъ уже не мнѣ, а людямъ; моей жизни было только нѣсколько минутъ; теперь кругомъ меня все безчувственно, холодно, какъ вотъ этотъ камень, на

которомъ я сижу. Я—точно умирающій съ голода гастромъ, которому сначала подали лакомый кусокъ, а потомъ обносятъ каждымъ блюдомъ. Онъ смотритъ, ждетъ, мучится; но все напрасно. Теперь уже настала очередь другихъ... Обманчива жизнь человѣка: она много общается, но первый морозъ губитъ цвѣтъ этихъ общаній, такъ что и зародышей ихъ не остается. Такая жизнь похожа на безплодное дерево, которое, когда подрастетъ, можетъ быть, и будетъ на что-нибудь пригодно, на примѣръ: на строеніе, для защиты другихъ людей отъ непогоды, на устройство птичьихъ гнѣздъ. Будемъ жить для другихъ! Неисповѣдима судьба. Одни какъ-бы отъ колыбели предназначаются для счастія, а другіе—на пораженіе несчастіями и жизни. Для однихъ течетъ жизнь розовой игривой струей, для другихъ—кровою, мертвенной. Почему-же это? Тайна! Тайна! Богъ такъ устроилъ все; стало быть, это имѣетъ свою цѣль. Можетъ быть, когда-нибудь все это объяснится для насъ, и мы увѣримся, что это къ лучшему для насъ. Человѣкъ еще далеко не совершенъ; мы еще не сознали и не прониклись духомъ ученія Христа Спасителя, еще и зародышей этого ученія не видать въ нашихъ учрежденіяхъ всякаго рода. Постоянная удача, счастіе насъ ослѣпляетъ, одуряетъ; и безъ того чрезвычайно слабые духомъ любви и смиренія, мы, отъ непрерывнаго счастія, становимся еще болѣе тщеславными, гордыми и безразличными. Это ведетъ къ тому, что мы въ глазахъ брата сучокъ, порошокъ замѣтимъ, а у себя и бревна не видимъ; что мы дѣлаемся самыми наглыми тиранами нашей меньшей братіи. Отсюда происходятъ всѣ дикіе, невѣжественные и кровавые перевороты въ обществѣ. Тягостна моя жизнь; но плакаться-ли мнѣ на нее? Родился я въ нуждѣ, выросъ сиротой; благодѣтельный случай исторгнулъ меня изъ среды нужды, мрака и насилія, озарилъ меня свѣтомъ науки и искусства, проповѣдующихъ объ истинѣ, добрѣ и красотѣ, словомъ, объ очеловѣченіи. И вотъ, открылся мнѣ новый міръ: съ содроганіемъ я взглянулъ на прежній міръ, въ которомъ такъ много поставлено препятствій для спокойнаго развитія человѣчности, въ которомъ тысячи, милліоны моихъ братій гибнутъ въ борьбѣ съ этими препятствіями, не достигнувъ должной, желанной для человѣка.

цѣли... Нѣтъ, они, оставшіеся тамъ, по ту сторону, горькіе, безнадежные мученики, а я уже спасенъ, для меня есть будущее. Будьте-же благословенны вы, проложившіе мнѣ дорогу къ источнику человѣчности—къ наукѣ и искусству. И ты, Альфредъ, который, дружбой своей, вызвалъ къ жизни эту сторону моего внутренняго міра; и ты, имя которой я не смѣю назвать даже самому себѣ, которая взглянула на мужика, какъ на человѣка; и ты даже, который, наказывая, отталкивая меня, развилъ тѣмъ во мнѣ чувство собственного достоинства, яснѣе опредѣлилъ мнѣ мое положеніе; и вы все, которыхъ я встрѣтилъ въ жизни, потому что даже зависть и ненависть ваши были плодотворны для меня. Будьте благословенны—люди доброжелательные; будьте благословенны и скорби мои. Въ счастіи я, можетъ быть, забылъ-бы свои обязанности, разбѣжился-бы и упалъ; страданія укрыли меня отъ нравственнаго усыпленія, развили во мнѣ силы и возвысили мой духъ. Хвала и слава Тебѣ, Господи, за все!

Долго сдерживаемыя слезы оросили его лицо.

Зачѣмъ-же я плачу? Затѣмъ, что нѣтъ у меня дѣйствительнаго, живого, дѣятельнаго счастія, а есть только мечта о немъ, вѣра въ него, ожиданіе его. Неужели-же цѣлые годы пройдутъ въ этихъ мечтаніяхъ и ожиданіяхъ, а тамъ останутся только одни воспоминанія объ этихъ мечтаніяхъ? Погоримся желѣзной необходимости.

Онъ хотѣлъ встать, но близкій шелестъ остановилъ его. По дорожкѣ оврага, которая полоской бѣжала въ яръ, спускалась бѣлая женская фигура среди темныхъ листьевъ, тихо напѣвая пѣсенку. То одной, то другой рукой хваталась дѣвушка за шиповникъ, за дубъ и березнякъ, чтобы не поскользнуться и не упасть. Потомъ, разбѣжавшись, проворно и быстро прыгнула въ долину, остановясь почти у самаго дуба, подъ которымъ сидѣлъ Остапъ.

Увидавъ его, она вскрикнула, покраснѣла, улыбнулась, и, пригладивъ черные свои волосы, начала оглядываться кругомъ, какъ бы ища чего-то. Остапъ посмотрѣлъ на дѣвушку съ состраданіемъ и любопытствомъ и привѣтствовалъ ее.

— Добрый и вамъ вечеръ,—отвѣчала она, краснѣя и оглядываясь.—Вы все еще подъ своимъ дубомъ?

— Да, вечеръ такъ хорошъ, что не хочется сидѣть въ хатѣ.

— И я не могу сидѣть взаперти,—сказала она.— Я прибѣжала къ вамъ, узнать, не нужна-ли я вашимъ коровкамъ.

— Благодарю тебя, Марина,—отвѣчалъ Остапъ,—старая Лепиха, вѣроятно, подоила уже ихъ.

— Уже!—воскликнула дѣвушка, простодушно всплеснувъ руками.—Вы, какъ я вижу, подрядили себѣ старую Лепиху: ну, такъ будьте здоровы. О, какой же ты недобрый, Остапъ,—добавила она, употребляя то ты, то вы.—Вы не хотите даже, чтобъ я чѣмъ-нибудь отблагодарила васъ за излѣченіе моей матери.

— Благодарю тебя, Марина, но вѣдь ты одна при ней, въ избѣ все на твоихъ рукахъ и у тебя немного времени. Я не могу согласиться, чтобъ ты услуживала мнѣ, бѣгая такъ далеко?

— А что за далеко?—живо отвѣчала Марина.—Какъ-разъ за оврагомъ, пройдя поле, лугъ, дубнякъ, плотину и деревню.

— А всего-то и выйдетъ съ добрую полмилю.

— Ну, гдѣ же! Вамъ это такъ кажется, потому что съ тѣхъ поръ, какъ мать выздоровѣла, вы, я думаю, и трехъ разъ не были у насъ. Для меня это близко. Но скажите по правдѣ,—сказала она, приближаясь къ нему, коровы ужъ подоены?

— Не знаю,—сказалъ Остапъ,—но, Марина, тебѣ за этимъ бѣгать сюда не легко, да еще и люди про тебя, пожалуй, что-нибудь наплетутъ.

Марина размѣялась, вся покраснѣла и, всплеснувъ руками, сказала:

— Ахъ! Боже ты мой! Васъ здѣсь все уважаютъ, и никто не осмѣлится подумать о васъ что-нибудь дурное. Оставимъ это. Вотъ, лучше признайтесь, что я вамъ наскучила. Лепихѣ вы дадите молока, скажете: добрый вечеръ, и конецъ всему. А я вамъ не даю покоя, рассуждаю, привязываюсь, а это; можетъ быть, вамъ не нравится.

Остапъ покраснѣлъ, пожалъ плечами.

— Какъ это приходитъ тебѣ въ голову, Марина?—сказалъ онъ тихо.—Конечно, мнѣ пріятнѣе поговорить съ кѣмъ-нибудь, чѣмъ сидѣть одному, какъ въ пустынѣ.

— Да, съ какимъ-нибудь старикомъ, съ ученымъ или съ такимъ, который помнитъ о старыхъ временахъ, а не со мной.

Но скажите же мнѣ, подоены ваши коровы, или нѣтъ? Я пойду сама загляну въ хлѣвъ. Ну, а если тамъ Лепиха? Впрочемъ, ничего, я могу ей помочь. Она проворно побѣжала, маня Остапа къ садику, который заслонялъ хлѣвъ. Остапъ остался подъ дубомъ въ раздумьи, потомъ началъ тихо прохаживаться по травѣ, поглядывая на красивую Марину, которая не разъ оборачивалась къ нему съ улыбкою.

Марина, въ самомъ дѣлѣ, была хороша, но рассмотреть это могъ только глазъ неиспорченный. Лицо ея, совершенно овальное, смуглое, полное жизни и огня, было покрыто яркимъ румянцемъ; черные глаза блестѣли, носъ маленькій, правильный, съ раздутыми прозрачными ноздрями, губы мягкія, розовыя, зубы бѣлые; коса густая, роскошная, какъ подольская рожь, обвивалась вокругъ головы, украшенной зеленью и цвѣтами. Плечи круглыя, какъ выточенные, станъ сильный, гибкій и тонкій; выраженіе лица выказывало сильное чувство, несокрушимую волю и быстрое соображеніе.

Марина исчезла за кустарниками, перепрыгивая, какъ серна, чрезъ плетни, а Остапъ снова, задумавшись, ушелъ подъ своимъ дубомъ.

Вотъ, — думалъ онъ, — одинъ изъ тѣхъ прекрасныхъ дивихъ цвѣтовъ, которымъ немного надо благопріятныхъ условій для роскошнаго развитія. Но, едва отнятая отъ материнской груди, она прямо съ колѣнъ матери должна была уже прыгнуть къ труду и, ползая, учиться служить. Если и освѣтилъ ее лучъ мысли, то развѣ ниспосланный Богомъ черезъ Ангела Хранителя, люди-же и не подумали, что ей, кромѣ пищи, одежды и сна, нужны еще мысли и чувство, нуженъ свѣтъ, чтобы все это внутри ея зажглось и горѣло, какъ неугасимая лампада, до конца ея дней. Душа ея рвется къ этому свѣту, жаждетъ его. Какъ она слушаетъ, какъ схватываетъ и помнитъ каждое слово! Какъ въ ней самое маленькое зернышко разростается и расцвѣтаетъ! Сколько разъ удивлялся я, когда она, спустя нѣсколько дней, повторяла мои собственные выраженія, а переданныя ею самою, они казались еще сильнѣе и ярче. Какой же жребій дожидаетъ ее? Шумная, пьяная свадьба, равнодушный мужъ, грязныя дѣти, недостатокъ, трудъ чрезъ силу, преждевременная старость, грустная, холодная, сварливая...

Онъ не успѣлъ еще высказать всего этого, какъ вдругъ Марина, выбѣжавъ изъ-за кустовъ, остановилась съ подойникомъ въ рукѣ.

— Вотъ и не было Ленихи, — воскликнула она, весело смотря ему въ глаза. Даже старый Иванъ признался мнѣ въ этомъ. Оставьте Ленихину въ покоѣ и не зовите ее. Какая вамъ въ томъ помѣха, что я буду прибѣгать сюда каждый день и доить вашихъ коровъ? Мнѣ это пріятно.

— Но всякій день ходить такъ далеко?

— Что-же вамъ до этого? Зато я услышу вашъ голосъ, а я такъ люблю слушать, когда вы говорите.

Послѣ этихъ словъ, она опустила глаза и закрыла ихъ рукой.

— А люди? — сказалъ Остапъ.

— Ну, если у нихъ есть охота, пусть сплетничаютъ: мнѣ это рѣшительно все равно.

— А замужъ не пойдешь.

— Оставьте меня въ покоѣ. Сто разъ пошла-бы, если-бы хотѣла, потому что стараго Кузьму люди знаютъ, — онъ ни въ чемъ не нуждается, а я у него одна. Но я сама не хочу.

— Почему-же?

— А вы хотите это знать? Пожалуй, скажу: потому, что другого Остапа нѣтъ въ деревнѣ.

Она быстро убѣжала.

Остапъ, при этомъ неожиданномъ признаніи, остолбенѣлъ: ему было грустно, потому что приходилось оттолкнуть любовь, этотъ драгоценный даръ на землѣ.

Солнце уже скрылось за горою, и началъ проникать холодъ, часто очень суровый въ долинахъ. Остапъ отправился тихими шагами къ домику и, не входя въ избу, сбросилъ съ себя шапку и сѣлъ на порогъ. Марина, незамѣченная, прокралась черезъ садъ, вскарабкалась на пригорокъ по едва замѣтной дорожкѣ и, взглянувъ еще разъ съ высоты на Остапа, побѣжала въ деревню.

На другой день, снова ясный, тихій вешній вечеръ озлащалъ оврагъ Бондарчуковского хутора. Остапъ, послѣ своего странствованія по сосѣднимъ деревнямъ, въ которыхъ у него были больные весенней лихорадкой, отправился подъ дубъ,

чтобы подумать и отдохнуть по обыкновенію. Нѣсколько разъ взоръ его обращался на дорожку, по которой всегда приходила Марина; онъ желалъ, чтобы она болѣе не являлась, точно какъ будто ея веселость давила ему сердце и видъ ея терзалъ его.

— Послѣ вчерашняго признанія, — думалъ онъ, — она, по крайней мѣрѣ, нѣсколько дней не покажется.

Но онъ не зналъ страданіе женщины и забылъ, воспитанникъ города, сельскіе обычаи. Марина явилась снова въ свое время, веселая, какъ и вчера, спокойная, и первая его привѣтствовала обыкновеннымъ своимъ: „добрый вечеръ“.

Глаза ея еще смѣлѣе на этотъ разъ повторяли то, что вчера уста выговаривали. Остатъ встревожился. Въ сердцѣ его осталось только страданіе, но не могло быть и не было страстной провязанности, потому что онъ обратилъ всю ее къ одной женщинѣ. Онъ чувствовалъ какую-то благодарность, пріязнь и благосклонность къ дѣвушкѣ, которая такъ привязалась къ нему. Онъ уже давно видѣлъ, какъ она съ трепетнымъ уваженіемъ прислушивалась къ его словамъ; не разъ замѣчалъ огонь въ ея взглядѣ, дрожаніе въ голосѣ, краску въ лицѣ; но объяснялъ это уваженіемъ, боязнью, благодарностью. Любовь, неожиданно явившаяся на пути жизни, уже замкнутой у него въ тѣсныя предѣлы, была теперь заботою. Какъ отплатить за это чувство, съ чего начать? Совѣсть приказывала оттолкнуть эту ненужную ему любовь, жалость противилась этому. Поборясь съ минутою, онъ наконецъ, рѣшилъ, какъ многіе другіе, что это только минутная склонность; что сильныя страсти вообще рѣдки, а у людей низшаго класса, встрѣчаются еще рѣже: эти люди не имѣютъ времени раздувать этотъ огонь; тяжелый трудъ защищаетъ ихъ отъ сильной скорби; это пройдетъ.

Послѣ этого размышленія, онъ поднялъ голову, отвѣчая на привѣтствіе красивой Марины, ласковымъ — «добрый вечеръ»! Марина, какъ всегда, убранный въ полевые цвѣты, свѣжая, почти нарядная, посмотрѣла на него съ жаромъ, кокетливо прислонясь къ пню дуба, подъ которымъ онъ сидѣлъ, и вступила въ разговоръ.

— Видите, какъ я проворно отдѣлалась: вскопала часть огорода, посадила и полила рассаду, приготовила ужинъ и,

поручивъ его матушкѣ, поспѣшила къ вашимъ коровкамъ. Справлялась у Лепихи: правда-ли, что вы ее приговорили, но она и не слыхала объ этомъ. Она даже не могла-бы и сладить съ ними.

— Благодарю тебя, Марина; но вѣдь и тебѣ это будетъ не легко.

— Тяжело-то вѣдь только то, что непріятно,—отвѣчала смѣло дѣвушка.

— Ты такая добрая, моя милая Марина, что тебѣ всегда хочется сдѣлать каждому пріятное.

— Вы думаете, каждому? О, нѣтъ! Я не такая добрая. Одному дѣлаю, чтобы только сдѣлать, другому-же дѣлаю отъ всего сердца.

— Помогни мнѣ Богъ возблагодарить тебя за твое доброе сердце.

Дѣвушка вздохнула.

— Но развѣ я требую вашей благодарности?—Двѣ слезы навернулись на ея черныхъ глазахъ, но она снова улыбнулась и сказала:

— Когда вы захотите благодарить меня, то помните, что вамъ стоитъ только позвать Марину и позволить ей долго, долго слушать, когда вы начнете говорить.

— Но о чемъ же?

— А о чемъ хотите. Я люблю слушать васъ, хоть иногда и не помню. Голосъ вашъ звучитъ въ ушахъ у меня, какъ самая пріятная пѣснь птички.

— Благодарю тебя,—сказалъ съ принужденной улыбкой Остапъ,—я помню, что твое доброе сердце признательно мнѣ за мать.

— За мать? лихо произнесла Марина,—пусть хоть за мать! Но мнѣ кажется, что и безъ этого, я чувствовала бы то-же что и теперь, потому что это чувство, Богъ знаетъ, откуда пришло ко мнѣ. Прежде я васъ боялась, очень боялась, думала, что такой умный человѣкъ долженъ быть очень страшенъ: но когда убѣдилась, что вы кротки и добры, мнѣ любопытно было узнать вашъ умъ. Если-бы я васъ долго не видала, то мнѣ было бы очень грустно, а если бы мнѣ кто сказалъ, что я васъ никогда не увижу....

— Что же бы тогда, Марина? А вѣдь это, однако, можетъ случиться? Я вѣдь не здѣшній, и когда-нибудь могу удалиться отсюда.

— О, не говорите! зачѣмъ это говорить? этого быть не можетъ! Но если бъ ты ушелъ отъ насъ далеко, то я послѣдовала бы за тобой.

— Ты шутишь, Марина,—сказалъ Остапъ, съ тяжкимъ чувствомъ въ сердце,—а мать? а отецъ?—добавилъ онъ кротко.

— Мать, отецъ, это правда! продолжала она грустно. Мать, отецъ, хата наша, поле наше,—все это тяжело покинуть; и что бы они стали дѣлать безъ своего единственнаго дѣтища? Но если бы я не могла послѣдовать за тобою, то-бы вотъ.... я не знаю...

Сказавъ это, она отскочила отъ дерева, схватила подойникъ и, закрывъ глаза передникомъ, побѣжала въ хлѣбъ. Остапъ всталъ задумчивый, грустный, почти раздраженный, и заперся въ своемъ домикѣ. Часъ спустя, Марина искала его подъ дубомъ, въ саду, на порогѣ, подкралась къ окошку и увидала, наконецъ, что онъ сидитъ, опершись на столъ, въ такую пору, въ которую привыкъ быть на воздухѣ; она подумала, что онъ избѣгаетъ ее.

— Такъ онъ хочетъ этого,—думала она,—ну, и не увидитъ меня больше, а я все-таки буду его видѣть.

И скорымъ шагомъ поспѣшила домой.

Остапъ промучился взаперти до поздней ночи. Увѣрившись, что Марина уже ушла въ деревню, онъ вышелъ, по обыкновенію, на порогъ, потому что имѣлъ привычку сидѣть долго ночью на камнѣ у дверей, въ размысленіи и молитвѣ. Приближалась полночь; глубокая, таинственная, прекрасная тишина весенней ночи наполняла окрестности, поражая своимъ величіемъ. Вдругъ послышался ему отдаленный топотъ лошадей и говоръ людей.

— Можетъ быть, кто-нибудь ѣдетъ за мною,—подумалъ онъ и пошелъ къ дому. Легкій вѣтерокъ со стороны ѣхавшихъ явственно доносилъ голоса ихъ. Остапъ могъ слышать отрывистыя слова:

— А не ошибаешься ли ты, братецъ мой?

— Нѣтъ, панъ, вотъ уже мы и подъ яромъ.

— А что, дома-ли онъ?

— Кажется, что дома. Остальные слова заглушилъ топотъ лошадей. Вопросы сдѣланы были по-польски, отвѣты же на проstonародномъ нарѣчїи.

— Это кто-нибудь ко мнѣ ѣдетъ. Славу Богу, что я готовъ.

Онъ ожидалъ на порогѣ. Отворили ворота, и вѣхалъ сперва одинъ, потомъ вошелъ другой, ведя за собою лошадь. Мѣсяцъ освѣтилъ мужчину, закутаннаго темнымъ плащомъ; онъ оставился передъ крыльцомъ и готовъ уже былъ войти въ домъ, какъ замѣтивъ Остапа у дверей, узналъ его и бросился ему на шею.

— Альфредъ!

— Остапъ! — вскрикнули они разомъ.

— Что за неожиданный милый гость, — сказалъ хозяинъ, ведя его въ неосвѣщенную еще комнату. — Приѣхалъ, вѣроятно, къ знакомымъ, къ роднымъ и не забылъ обо мнѣ. Но почему же такъ поздно?

Договаривая послѣднія слова, они вошли въ избу и за-творили за собою двери.

— Какъ я благодаренъ тебѣ!

— Не удивляйся и не благодари, — сказалъ Альфредъ грустнымъ голосомъ. — Я приѣхалъ именно къ тебѣ и привезъ не дружеское привѣтствіе, а тяжкое бремя на твои плечи.

— Ты говоришь — бремя, Альфредъ? — Можешь-ли ты быть тягостенъ мнѣ?

— О, не обо мнѣ рѣчь, подожди: у меня нѣтъ силъ разсказать тебѣ все вдругъ, дай отдохнуть, дай успокоиться. Отправь челоуѣка, который меня сюда проводилъ; прикажи ему молчать, меня ищутъ, пусть никому не говорить, что онъ проводилъ меня сюда.

— Почему это? Что это значитъ? Развѣ ты скрываешься?

— Я бѣжалъ!

— Ты?

— Я! Повидайся съ нимъ, ты знаешь его, попроси его отъ себя, вотъ деньги они тебя всѣ любятъ, для тебя будутъ молчать; не спрашивай больше, а дѣлай, что я говорю.

Отправляя знакомаго ему проводника для отдохновенія и для подкрѣпленія силъ, Остапъ наградилъ его и наказалъ ему никому не говорить, что онъ кого-то провожалъ въ хуторъ.

— Мнѣ могло-бы это повредить, — добавилъ онъ, рассчитывая на общую къ нему привязанность.

— Будьте покойны; ни одна живая душа не узнаетъ объ этомъ, — шепнулъ проводникъ.

Когда принесли свѣчу, Остапъ изумился, посмотрѣвъ на Альфреда, удивительно перемѣнившагося. Преждевременная старость сморщила нѣкогда прекрасныя черты его лица; онъ сдѣлался суровѣе и покрылся сухой, пожелтѣвшей кожей. Рѣдкіе волосы начинали уже сѣдѣть, щеки глубоко впали, взоръ потухъ, и сгорбленная спина уменьшила ростъ.

— Что съ тобою? — спросилъ Остапъ, сядя около него. — Говори, прошу тебя, что съ тобою? Ты долженъ все рассказать мнѣ. Говори скорѣе! И мнѣ, и тебѣ будетъ легче.

— Мнѣ, можетъ быть, а тебѣ — не знаю, — сказалъ грустно Альфредъ, — а вѣроятно, что и обоимъ намъ не будетъ легче. Но слушай, мы одни, вотъ тебѣ моя исповѣдь. Видишь, какъ я измѣнился, это счастье мое отпечаталось на лицѣ.

— Альфредъ, меньше проиіи, больше сознанія, — тихо сказалъ Остапъ, сжимая его руку.

— Я не шучу и не злословлю, — важно подхватилъ графъ, — нѣтъ, говорю тебѣ истину. Я былъ счастливъ и теперь счастливъ; но счастье мое терзаетъ меня. Михалина прекрасная жена, ангелъ доброты; но, смотря каждый день на то, чего стоить ей мое счастье, ты видишь, какъ я измѣнился. Меня грызетъ и отравляетъ приносимая этой женщиной жертва.

— Она тебя любитъ!

— Она не любитъ меня, не любила и не могла любить, — сказалъ сурово графъ. — Она одна изъ тѣхъ рѣдкихъ женщинъ, которыя любятъ только однажды и навсегда.

Остапъ опустилъ глаза, покраснѣлъ, притворился, что не понимаетъ и молчалъ.

Альфредъ продолжалъ далѣе:

— Но Мизя, какъ святая, присягнувъ разъ у алтаря разделить жизнь со мною, исполняетъ свою жертву геройски, мученически. Живетъ мною и только для меня, хотя сердце ея не при мнѣ и не для меня. Господь Богъ послалъ ей утѣшеніе — ребенка, у его колыбели она нашла еще силы для несенія своего креста. Я открылъ тебѣ нашу глубокую, семейную тайну.

Другимъ этого никогда не узнать. Михалина искусно прикрываетъ свою сердечную рану улыбкою на устахъ и спокойствіемъ взгляда.

— Альфредъ, прервалъ Остапъ, — позволь припомнить тебѣ то, что я уже не разъ говорилъ давно, еще въ Берлинѣ. Вы, люди, испорченные дурнымъ воспитаніемъ, привыкли въ каждомъ цвѣткѣ прежде, чѣмъ замѣтите запахъ его и красоту, видѣть червячка, который его точитъ, а пыль, которую видите на концѣ цвѣточного стебелька, кажется вамъ чудовищемъ. Ваши страданія болѣе воображаемы, нежели дѣйствительны.

— Это не мечта, а святая правда. О, какъ-бы хотѣлъ я обмануться! Но довольно объ этомъ, сердце мое обливается кровью. Разбери жизнь мою. Я не могу ни показать ей, что знаю, какъ она страдаетъ, ни утѣшить ее. Люблю ее, жажду взаимности, и въ то-же время потерялъ всякую на нее надежду. Однимъ словомъ, я несчастливъ. Уже два года, какъ я знаю, что Мизя не можетъ перемѣниться въ отношеніи ко мнѣ. Она уважаетъ меня, цѣнитъ, но любить меня не можетъ.

— Бѣдный Альфредъ, какъ-же ты хочешь, чтобы она тебя полюбила! Вѣдь ты говоришь какъ двадцатилѣтній юноша.

— Нѣтъ, это не ребячество; я глубоко знаю ея сердце, знаю, какъ она умѣетъ, можетъ любить и любить другого. Я цѣлое лѣто слѣдилъ за ней и знаю...

— Продолжай, — прервалъ его Остапъ.

— Я вѣчно съ веселымъ лицомъ, притворяюсь, что счастливъ, цѣлую ея ручки съ благодарностью, а тутъ, добавивъ онь, ударяя себя въ грудь, у меня цѣлый адъ! Раздраженный и обѣщенный противъ себя, я всю злость изливаю на другихъ.

— Чѣмъ же они виноваты?

— Знаю, что не виноваты, но страсть не имѣетъ логики. Я виноватъ самъ; но на комъ же мнѣ выместить это?

— Для чего же тебѣ мстить?

— Я хочу мести.

— Алфредъ! Я не узнаю тебя.

— Я самъ не могу себя узнать ни въ зеркалѣ, ни въ собственномъ сердцѣ.

— Бѣдный Алфредъ!

— Я искалъ этой глупой мести и нашелъ свою гибель!

Все, что жило въ сосѣдствѣ у меня, я успѣлъ раздражить, вооружить противъ себя и вывести изъ терпѣнія. Я нажилъ себѣ много враговъ.

— Помилуй, Алфредъ, это заблужденіе, это помѣшательство!

— Да, это сумасшествіе, но я не могу владѣть собою, мучаю себя, мучаю другихъ. Это сумасшествіе, признаюсь; но выльѣчи-же меня отъ него? Не можешь?

— Кто знаетъ?

— Я отравилъ жизнь ея и счастье, да и свое тутъ-же. Кто знаетъ, можетъ быть, я нашель-бы другую? Я не любилъ ее, когда женился на ней. Любовь родилась и развилась отъ невозможности вполнѣ владѣть Мизей. Остального ничего не знаю, не понимаю. Я несчастливъ, довольно этого.

— Но отчего-же бѣжишь ты? Зачѣмъ скрываешься? Что съ тобою?

— Это послѣднее и самое высшее мое несчастье: я долженъ оставить родной край.

— Почему-же?

— Отъ ребячества, — угрюмо возразилъ Алфредъ. — Я былъ золъ и хотѣлъ на комъ-нибудь излить свою злость; встрѣтился со мною какой-то сумасбродъ, я плюнулъ ему въ глаза, онъ вызвалъ меня, мы стрѣлялись и...

— Ты убилъ его! — вскричалъ Остапъ.

— Что-же изъ этого? Убилъ, — сказалъ Алфредъ, пожимая плечами. Самое дурное то, что я долженъ бѣжать.

Остапъ содрогнулся.

— И эта кровь не тяготитъ тебя, кровь невинная, кровь братская? — сказалъ онъ.

Алфредъ опустилъ голову и вздохнулъ. Досихъ поръ, онъ говорилъ какъ-бы въ бреду, теперь-же бросился на постель, воскликнувъ:

— Молчи, и такъ уже довольно.

Послѣ минутнаго молчанія, онъ поднималъ блѣдное свое лицо и продолжалъ далѣе:

— Убилъ и долженъ бѣжать: за мною гонятся. На этихъ дняхъ, по милости друзей, я получу паспортъ за границу. Но я не выѣду отсюда, пока ты мнѣ не дашь слова, что жена моя и ребенокъ останутся подъ твоимъ покровительствомъ,

хотя до моего возвращенія, хоть бы, не знаю, до которыхъ поръ. Ворочусь ли я еще?

— Подъ моей опекой? — воскликнулъ Остапъ, какъ-бы не понимая смысла сказаннаго.

— Завтра я уѣзжаю за границу, а ты отправляйся въ Скалу, какъ опекунъ Мизи и Стаси.

— Я — ихъ опекунъ! Что съ тобою дѣлается? Взгляни на меня. Въ чемъ можетъ помочь простой мужикъ, какъ я?

— Все сдѣлаешь, и сумѣешь, если только захочешь. Я оставляю мое состояніе въ самомъ дурномъ положеніи: процессовъ множество, люди, отъ дурныхъ управляющихъ, разорены и почти взбунтованы отчаяніемъ, сосѣди всѣ ко мнѣ непріязненны, кредиторы безпокойны. Мизя совершенно одна, отказъ твой погубить насъ.

— Какъ мнѣ общать, если я не знаю, какъ мнѣ справиться съ тѣми обязанностями, которыя ты возлагаешь на меня?

— Твое сердце, воля и умъ, укажутъ тебѣ, что дѣлать.

— Въ дѣлахъ приобрѣтенія и управленія я ничего не понимаю.

— Для тебя нѣтъ ничего труднаго.

— Алфредъ! Что за дикая мысль?

— Неужели-же я ошибся, рассчитывая на твою пріязнь?

Остапъ замолчалъ; Альфредъ взглянулъ ему въ глаза и живо добавилъ:

— Я полагаюсь на тебя; ты меня понимаешь. Я тебѣ вполне довѣряюсь.

— Но я себя не довѣряю, — возразилъ грустно Остапъ.

— Ты силенъ, ты можешь сдѣлать, что захочешь; повторяю, пожелай только, и ты спасешь насъ.

— Но это превышаетъ мои силы. Я обманулъ-бы, если бы обнадежилъ тебя.

— Послушай-же, Остапъ, — сказалъ графъ, вставая, — или я, осужденный, пойду вмѣстѣ съ ними, въ минуту своего гнѣва, искупить тяжкимъ страданіемъ мой проступокъ въ униженномъ изгнаніи, или уйду, оставляя постыдно все, что есть драгоцѣннаго для меня, на погибель, на нужду, на злобу непріятелей.

— Хочешь говорить откровенно?—отозвался Остапъ.

— Говори, но не покидай меня... насъ.

— Михалина,—сказалъ Бондарчукъ съ усиленіемъ, но его голосъ замеръ.

— Любила тебя и любить еще,—прервалъ Альфредъ,—это я знаю; но знаю вмѣстѣ и то, что я довѣряю судьбу мою благороднѣйшему изъ людей. Этого я не боюсь.

— Можетъ быть, увидавъ меня теперь, она разсмѣется, пожметъ плечами и исцѣлится: хорошая и прекрасная мысль!—сказалъ Остапъ, вздыхая и смѣясь.—Я явлюсь передъ нею такъ, чтобы она не могла полюбить меня, нарочно искажу себя, покажусь ей холоднымъ, равнодушнымъ, безтолковымъ и она будетъ презирать меня.

— Ты все это сдѣлаешь для меня!—вскрикнулъ Альфредъ, въ порывѣ радостнаго эгоизма.

— Для тебя? Нѣтъ! Для нее только!—возразилъ Остапъ.— Для нея, потому что я люблю ее. Сдѣлаю это, а потомъ скроюсь и умру.

Альфредъ бросился къ нему на шею. Остапъ, истощенный, упалъ на лавку и замолчалъ.

Альфредъ, послѣ долгаго ночного разговора, не сомкнулъ глазъ ни на минуту и на зарѣ началъ собираться въ путь. Остапъ, утомленный, грустно смотрѣлъ на отъѣздъ Альфреда и, казалось, боязливо отступалъ предъ величіемъ жертвы, на которую онъ согласился.

— Послушай,—сказалъ Альфредъ при отъѣздѣ,—сейчасъ же поѣзжай въ Скалу, не погуби ихъ и меня. Ты для нихъ и для меня замѣняешь всѣхъ и все. Знаю, что бремя тяжело, но ты великій человѣкъ, снесешь его...

— Или изнемогу подъ нимъ.

— Не изнеможешь,—воскликнулъ Альфредъ: ты силенъ.

— Это извѣстно одному Богу,—грустно отвѣчалъ Остапъ,—но поѣзжай спокойно: сдѣлаю, что могу, посвящу себя, не оглядываясь ни на себя, ни на что. Если жертва эта, какъ и много ей подобныхъ на свѣтѣ, останется бесполезною, то не сѣтуй на меня за это. Беру свидѣтелемъ Того, Который все видитъ, что даже крови моей не пожалѣю для васъ.

Они обнялись, и Альфредъ погналъ лошадь, не желая больше

видѣть лица пріятеля, потому что оно, блѣдное и пасмурное, было для него грознымъ упрекомъ.

Остапъ остался на крыльцѣ, прикованный къ мѣсту, остолбенѣвшій въ томъ положеніи умственного изнеможенія, изъ котораго тяжело выйти. Цѣлый почти день прошелъ у него въ размышленіи о будущемъ и въ разсмотрѣніи оставленныхъ Альфредомъ бумагъ, плановъ; къ вечеру, непохожій самъ на себя, усталый отъ потрясеній, мыслей и чувствъ, онъ потащился подъ свой дубовый крестъ, взглянулъ на этотъ знакъ, ежедневно напоминающій намъ все величіе Божеской жертвы, и слезы, какъ у ребенка, обильно полились изъ его глазъ.

— Творецъ креста, Творецъ терпѣнья! научи меня, что мнѣ дѣлать? Ты видишь, что мнѣ ничего не жаль; что я трепещу только при мысли о громадности возложенной на меня обязанности, но готовъ на подвигъ; дай мнѣ силъ, управляя мною, поддержи меня, если я поколеблюсь или изнемогу.

И онъ, почти безъ памяти, опустилсѣ на камень.

— Добрый вечеръ! зазвучалъ веселый голосокъ Марины, но онъ дико и непріятно звучалъ на этотъ разъ въ ухахъ Остапа.

Онъ поднималъ голову, взглянулъ, не узнавая говорившей и не сознавая сказаннаго ему; потомъ медленно, всматриваясь въ лицо улыбающейся крестьянки, отвѣчалъ ей привѣтствіемъ, но такимъ тихимъ голосомъ, что она едва могла его слышать.

Она ясно видѣла, что Остапъ былъ не въ обыкновенномъ расположеніи духа: лицо, глаза, голосъ—выражали необыкновенное волненіе, печаль и утомленіе. Дѣвушка съ чувствомъ посмотрѣла на него и спросила:

— Что съ вами?

— Со мною? Ничего, какъ видите.

— Нѣтъ, что-то есть! Ужъ не больны ли вы?

— Нѣтъ, нѣтъ.

— Но что же сдѣлалось съ вами?

— Ровно ничего, жаль этого покойнаго яра, моей тихой хижины и васъ всѣхъ.

— Почему-же жаль?—живо подхватила Марина, придвигаясь къ нему.

— Потому что все это я долженъ покинуть.

— Какъ такъ? Для чего покинуть? Я васъ не понимаю.

— Завтра, или не далѣе, какъ чрезъ нѣсколько дней, я долженъ ѣхать.

— Но вѣдь вы воротитесь?

— Кто знаетъ, ворочусь или нѣтъ.

— Но развѣ вы ѣдете надолго и далеко?

— Долженъ ѣхать.

— Вы меня только страшаете; этого быть не можетъ, нѣтъ!

— Однако, это такъ.

Марина выпустила изъ рукъ подойникъ, посмотрѣла блуждающимъ взоромъ и вскрикнула:

— Какъ? Вы въ самомъ дѣлѣ, не шутя, уѣзжаете?

— Далеко и надолго, — сказалъ Остапъ.

— А я? — воскликнула дѣвушка. (Слово это невольно вырвалось изъ ея устъ). Когда она услышала собственный голосъ, то сконфузилась, заплакала; не смѣла ни поднять глазъ, ни опустить ихъ; грудь ея сильно подымалась отъ сдержаннаго чувства. Остапъ посмотрѣлъ на нее съ состраданіемъ; потомъ, приблизившись къ ней, взялъ ее за руку и посадилъ около себя на камень.

Первый разъ онъ прикоснулся въ ея рукѣ. Бѣдная Марина первый разъ почувствовала его такъ близко подлѣ себя. Пріятное упоеніе вскружило ей голову, глаза полузакрылись и подернулись влагой, уста улыбались, руки, отъ прикосновенія его, охолодѣли и дрожали. А Остапъ былъ холоденъ, какъ камень, на которомъ онъ сидѣлъ. Трепетъ Марины не тронулъ его душу, въ которой было одно чувство грустнаго состраданія. Въ эту минуту онъ совершалъ преступленіе, обдумывая, какъ воспользоваться этой чистой и востороженной любовью для своихъ эгоистическихъ цѣлей. О, еслибъ она знала, что она только средство для выполненія выдуманыхъ приличій!

Смущенная и разгорѣвшаяся Марина подняла на него глаза, надѣясь найти въ немъ выраженіе. Но отъ взгляда Остапа повѣяло холоднымъ замысломъ. Стыдъ объялъ ее, и она горько заплакала. Она предпочитала смерть разочарованію и униженію, и вскочила. Остапъ тихо удержалъ ее за руку.

— Марина, — сказалъ онъ голосомъ, которому она была

послушна какъ ребенокъ,—я вижу, что тебѣ, можетъ быть, немного и жаль меня?

— Немного! шепнула дѣвушка съ досадою,—ты говоришь—немного! Зачѣмъ шутить? Зачѣмъ лгать? Я бы хотѣла умереть сейчасъ же: мнѣ тяжело жить безъ тебя.

— Свѣтъ великъ, людей много, тебѣ такъ кажется сегодня, а завтра ты забудешь,—сказалъ, не безъ волненія, Бондарчукъ.

— Женщина не забываетъ.

— Пока любить,—грустно отвѣчала Останъ.—Но Марина не слыхала его словъ: она была внѣ себя.

— Развѣ немного потоскуешь обо мнѣ? — спросилъ онъ снова.

Дѣвушка молчала.

— Но чрезъ мѣсяцъ, чрезъ два, чрезъ четыре, придутъ сваты изъ сосѣдней деревни, отъ Вуйта, отъ Тимона, отъ старосты изъ богатой хаты, отъ имени пригожаго парня, и Марина пойдетъ замужъ.

— Нѣтъ! — коротко, но рѣшительно отвѣчала она, подымая глаза.

— А родители прикажутъ?

— Не прикажутъ, а если бы и стали настаивать, то упаду къ ногамъ ихъ и упрошу ихъ.

— А панъ прикажетъ?

— Убѣгу, а замужъ не пойду.

— Почему?

— Къ чему лгать, къ чему далѣе лукавить? — воскликнула она съ жаромъ,—не пойду ни за кого, потому что не пойду за Остапа.

— Но Остапа не будетъ?

— Буду ждать, когда воротится.

— А если не воротится?

— А развѣ жизнь долга? Длинные дни, а жизнь коротка, — проговорила она тихо.

— А если бы,—сказалъ съ нерѣшимостью и медленно Остапъ,—если-бы Остапъ предъ отъѣздомъ пошелъ къ твоему отцу и матери, и попросилъ-бы у нихъ руки твоей, и повелѣлъ-бы тебя въ церковь?

У дѣвушки замерло сердце; она кинулась къ нему на шею, и громкій, дикій крикъ вырвался изъ ея груди.

— Послушай,— холодно и съ грустью сказалъ Остапъ: ты будешь моею женою, но надолго должна будешь остаться одна, потому что я обязанъ отлучиться отсюда, взять тебя съ собою не могу, да и самъ не знаю, ворочусь ли?

— Но къ чему же,— печально спросила Марина,— взглянуть на солнышко и потомъ на вѣкъ ослѣпнуть?

— Кто же знаетъ? Можетъ, и вернусь и будемъ вмѣстѣ жить на хуторѣ...

Онъ не договорилъ, потому что жизнь, которая для Марины была свѣтлымъ солнцемъ, казалась ему черною тучею.

Марина была почти какъ помѣшанная: въ ея головѣ мѣшались черныя и ясныя мысли, надежда и страхъ; она не понимала, что съ нею дѣлалось, не могла объяснить себѣ словъ возлюбленнаго, ни обѣщаній его, ни угрозъ, которыя въ нихъ звучали. Остапъ въ это время рассчитывалъ, страдалъ и терпѣлъ; мысль его была въ другомъ мѣстѣ. Онъ говорилъ самъ себѣ:

— Ни въ ея, ни въ моемъ сердцѣ не погасло еще то чувство, которое въ обыкновенныхъ случаяхъ разжигается только молодостью, а съ годами медленно угасаетъ. Для насъ исчезла уже надежда взаимнаго забвенія, оба мы не такъ равнодушны еще, чтобы могли сблизиться безъ трепета и безопасно... Альфредъ ясно повторялъ мнѣ это сто разъ. Онъ отправился отсюда, полный вѣры въ меня; я не хочу запятнать его довѣрія. Съ чего-же начну? Явлюсь передъ нею злодѣемъ такимъ, чтобы она не могла любить меня; покажусь ей одичалымъ, поглупѣвшимъ въ уединеніи, равнодушнымъ, не помнящимъ прошедшаго, какъ-будто его никогда и не было, явлюсь къ ней счастливымъ, пріѣду къ ней мужемъ красивой Марины. Она отвернется отъ меня, пожалѣетъ обо мнѣ, и сердце ея склонится къ отчужденному Альфреду.

Остапъ, Остапъ опомнись, не принимай одного грѣха на душу, желая избѣжать другого: вѣдь и подъ сарафаномъ бьется такое-же сердце женщины, которое не о хлѣбѣ единомъ живетъ, а жаждетъ полной, вѣчной любви— этого святѣйшаго таинства, полнѣйшаго блаженства на землѣ.

Послѣ нѣкотораго молчанія, Остапъ обратился къ Маринѣ, которая, сама не зная отчего, плакала.

— Пока я не возвращусь, ты останешься здѣсь, на моемъ хуторѣ, будешь хозяйничать и ждать меня.

— Здѣсь?—спросила она, съ немного повеселѣвшимъ лицомъ.— Но къ чему же вамъ ѣхать?

— Нужно, непременно нужно; объ этомъ не спрашивай. Дѣвушка пожала плечами.

— Завтра, — прибавилъ Остапъ, — приду просить твоей руки у отца твоего и матери.

— Пойдемъ и къ пану?— тихо сказала крестьянка, — потому что безъ пана ничего не будетъ, вѣдь я одна у отца.

— Правда, тутъ даже можетъ быть затрудненіе.

— И я такъ думаю! Сколько разъ уже меня сватали изъ другой деревни, давно еще, когда я васъ не знала. Родители выдали-бы меня, — они этого желали, но панъ не позволилъ.

— Почему?

— Потому что лишился-бы работника въ деревнѣ, — отвѣчала Марина, — а нашъ панъ большой хозяинъ.

Приближалась ночь, и дѣвушка, простясь съ Остапомъ, побѣжала домой, не довѣряя еще тому, что слышала и что должна передать своимъ.

На другой день Остапъ поспѣшилъ въ деревню къ родителямъ Марины.

Онъ засталъ ихъ обоихъ у воротъ хаты, потому что старый Кузьма собирался въ поле, жена подавала ему суму съ хлѣбомъ и солониной и фляжку съ водою; дочь стояла въ дверяхъ хаты.

Кузьма былъ уже пожилой человѣкъ, лѣтъ около пятидесяти, широкоплечій, высокаго роста, съ загорѣлымъ лицомъ и съ черными подбритыми волосами; длинные усы придавали ему важный видъ. Видно было, что жизнь его прошла въ трудѣ; но онъ доволенъ былъ ею, онъ нуждался только въ хорошемъ урожаѣ хлѣба, здоровьѣ скотины и хорошемъ сбытѣ ея на ярмаркѣ.

Жена его была также добрая женщина, но безпокойная и слишкомъ хлопотливая, за что ей часто и доставалось отъ мужа.

Увидавъ Остапа, они окружили его, привѣтствуя каждый по своему. Кузьма радостно улыбнулся, восклицая:

— Награди васъ Богъ, что о насъ вспомнили!

Акулина, ударяя себя въ голову, прибавила:

— Право, не имѣемъ чѣмъ и угостить васъ, какъ-бы слѣдовало и какъ-бы хотѣлось: такое несчастіе!

— Батѣа,—сказалъ важно, снимая шапку, Бондарчукъ,—я служилъ вамъ, какъ могъ, а теперь пришелъ къ вамъ съ просьбою; не откажите-же мнѣ!

— Что прикажете, то и сдѣлаемъ; развѣ мы такіе люди, что насъ нужно просить,—сказалъ Кузьма.

— Сейчасъ вы все узнаете: я уже забылъ старые наши обычаи и не имѣю никого, кромѣ Бога, кто-бы могъ приказывать мнѣ. Онъ внушилъ мнѣ мысль просить у васъ руки вашей дочери Марины, потому что я люблю ее.

Кузьма, отъ удивленія, уронилъ изъ рукъ шапку, а старуха, всплеснувъ руками, обратилась къ дочери:

— Эй! полно, правда-ли?

Дѣвушка спряталась за избою.

— Съ такою вещью шутить не годится,—важно сказалъ Остапъ,—сообразите, посовѣтуйтесь съ людьми, и что вамъ Богъ внушитъ, то и отвѣчайте. Скажу вамъ откровенно, что мнѣ надо ѣхать отсюда на полгода, можетъ быть, на цѣлый годъ, хорошенько не знаю: предъ отъѣздомъ хочу жениться, отдамъ вамъ мой хуторъ, и вы будете на немъ хозяйничать.

— И женитесь, и уѣзжаете сейчасъ-же?—спросилъ Кузьма, еще болѣе удивляясь.

— Вотъ горе!—ворчала старая Акулина,—женится да сейчасъ и бросить бѣдняжку.

— Я долженъ ѣхать, а вы подумайте, что мнѣ отвѣтить.

— Конечно, что уже тутъ думать, зачѣмъ притворяться!—сказалъ Кузьма, посмотрѣвъ на жену,—намъ нельзя отказать. Такого счастья намъ и на свѣтлый праздникъ не снилось. И они начали всѣ обниматься и цѣловаться.

— Такъ я могу надѣяться, что вы мнѣ не откажете?

— Сохрани Боже! только-бы пожелала Марина, — сказала мать,—берите ее съ Богомъ, сейчасъ-же благословимъ. Только какъ я справлюсь со свадьбою?—шептала она тихо.

— Она умная и послушная дѣвушка,—прервалъ отецъ,—

я въ ней не сомнѣваюсь. Никто, разумѣется, не отвергнетъ хорошаго.—Въ это время Марина показала на порогъ.

— Эй! поди сюда, моя милая,—воскликнулъ Кузьма:— поди и скажи намъ...

— Ну, что уже тутъ и спрашивать!—сказалъ отецъ, взглянувъ на дочь, и добавилъ:— ну, развѣ она не знаетъ о чемъ идетъ рѣчь? ой! ой! не даромъ ходила она доить коровокъ къ вамъ на хуторъ.

И онъ погрозилъ пальцемъ обонимъ.

— Ради Бога, не думайте ничего дурного, батюшка,—сказалъ строго Бондарчукъ, —дочь ваша ничего-бы не знала до нынѣшняго дня, если-бы я самъ вчера ей не сказалъ, а къ алтарю она пойдетъ безъ стыда, съ вѣнкомъ и красною лентою.

— И за то хвала Богу!—сказалъ Кузьма,—что такъ хорошо кончилось, а то-бы люди пальцами стали показывать. Ну, Марина, говори, что-же ты?

— А что-же сказать мнѣ? И она обернулась къ стѣнѣ, выглядывая исподлобья. Мать добавила:

— Говори-же! Вишь какой ребенокъ, притворяется несчастною.

— Вотъ тебя нашло счастье,—сказалъ отецъ,—добрые люди просятъ тебя, не будь-же глупа, не откажи.

— Какъ прикажете, такъ и будетъ,—прошентала она тихо.

— Хорошо отвѣтила, хорошо!—воскликнули вмѣстѣ отецъ и мать.

— Но что-же мы тутъ разсуждаемъ и сватаемся, а о самомъ важномъ и не подумаемъ,—сказалъ Кузьма, хватая себя за голову.

— Несчастіе!—ворчала Акулина по обыкновенію.

— О чемъ вы толкуете?—спросилъ Остапъ.

— Ба! А панъ-то нашъ?

— Онъ, конечно, не воспрепятствуетъ?

— Богъ знаетъ!—грустно отозвался Кузьма.

— Это уже мое дѣло,—поспѣшно отвѣчалъ Остапъ.—Имѣя ваше согласіе, я поѣду самъ къ пану.

Онъ уже собирался сѣсть на лошадь, но такое скорое сватовство, безъ сватовъ, безъ вина, безъ обыкновенныхъ свадебныхъ обрядовъ, не совсѣмъ нравилось старому Кузьмѣ: онъ

привыкъ уважать старые обычаи, и свадьба, безъ соблюденія ихъ, была не по немъ.

— Подождите немного, — сказалъ онъ, удерживая Остапа, — зачѣмъ вы такъ спѣшите? На барскомъ дворѣ, какъ обыкновенно вездѣ, я думаю, спать еще, а мы разойтись такъ не можемъ, безъ потчеванья, безъ сосѣдей и безъ всего, какъ изстари у насъ водится.

— Обойдемся, — грустно отвѣчалъ Остапъ, поглядывая на Марину, — дали слово и довольно, а вамъ-бы, батюшка, почему не взяться за соху, вамъ въ поле пора идти.

— Вы думаете, что я отъ такого важнаго дѣла отправлюсь въ поле! Нѣтъ, у меня работникъ есть, а самому-то надо угостить добрыхъ людей, стыдно безъ людей и сосѣдей все такъ дѣлать. Подождите-же, я вамъ изберу достойныхъ сватовъ и мы покончимъ дѣло по-старинному — стаканчикомъ. Мы не нищіе какіе, зачѣмъ дѣлать сватовство на улицѣ? Я ничего не пожалѣю.

— Я и самъ ничего не пожалѣю, милый Кузьма, но, видите, я отъ этихъ обычаевъ уже отвыкъ, и мнѣ надо спѣшить въ дорогу.

— Но развѣ вы опоздаете? — сказалъ старикъ, почесавъ затылокъ и ничего не понимая.

Онъ поплелся за сватами, за водкою и за шаферомъ. По любви и благодарности, которую Бондарчукъ заслужилъ у людей, и по любопытству, которое возбудила неожиданная его женитьба, вскорѣ собралось множество народа, къ великому удовольствію стараго Кузьмы.

Наконецъ, Остапъ, одѣтый довольно изящно и уже не по-крестьянски, похожій, по мнѣнію Акулины, на графа, направилъ шаги свои къ барскому двору.

Отецъ пана Суздальскаго былъ сынъ эконома; занимаясь интересами другихъ пановъ, онъ и самъ сдѣлался паномъ, оставивъ сыну полмилліона капитала и свѣтскія связи, потому что былъ женатъ на графинѣ П..., вышедшей за него по какому-то особенному случаю.

Происходя отъ графини, нынѣшній наслѣдникъ деревень Каленовицъ, Мышковецъ и Тарногуры, считался уже въ числѣ тамошней аристократіи, отличался гербами и очень искренно

вздыхалъ объ упадкѣ этого класса людей. Онъ женился на богатой барышнѣ, точно также высоко мечтавшей о своемъ барствѣ, хотя дѣдъ ея былъ не болѣе какъ повѣренный, нажившій состояніе жадностью и скупостью.

Панъ Адольфъ Суздальскій медленно старѣлся, борясь между желаніемъ высказаться и блеснуть наружностью и страхомъ разориться. Съ одной стороны, принужденный тратить, а съ друго — тотчасъ-же пополнять, онъ проводилъ свое время въ властолюбіи, надменности и въ мелочныхъ спекуляціяхъ и счетахъ.

Въ это время пану Адольфу было уже слишкомъ сорокъ лѣтъ, жена была моложе его, сынъ учился въ Берлинѣ, а дочь — дома, у гувернантки. Четыре раза въ годъ онъ принималъ у себя высшее общество и выказывалъ себя по-барски, что называлъ, по-своему, ананаснымъ приѣмомъ, остальное время хозяйничалъ, ѣздилъ по хуторамъ или посѣщалъ сосѣдей, чтобъ показать имъ пышность своего экипажа, отличныхъ лошадей и ливренъ своихъ людей.

Панъ Суздальскій былъ ни золъ, ни добръ, даже иногда имѣлъ благородныя и честныя наклонности, но все это портили барство, скупость и жадность.

Два или три раза передъ этимъ Остапъ имѣлъ удобный случай съ нимъ сблизиться. Вѣсть объ этомъ успѣшномъ лѣченіи разошлась далеко, оригинальная наружность, уединенная жизнь, затворническіе обычаи — возбуждали любопытство и прославляли его въ толпѣ, какъ одного изъ чудесныхъ лѣкарей, которые во всѣхъ краяхъ обыкновенно привлекаютъ къ себѣ простонародье. Часто присылали за нимъ изъ панскихъ домовъ, а разъ и панъ Суздальскій призывалъ его къ большой своей дочери, но Остапъ, который въ то время находился у постели бѣдной женщины, матери семерыхъ дѣтей, отвѣчалъ посланному: «что онъ можетъ подождать или послать за другимъ докторомъ, панъ найдетъ ихъ много, а у бѣдныхъ только я одинъ. Конечно, дочь его нужна для свѣта и для родителей, но сиротамъ мать еще нужнѣе».

Никто не смѣлъ повторить пану Суздальскому этого неучтиваго отвѣта. Панъ разсердился на него и называлъ шарлатаномъ, увѣряя, что онъ дѣлалъ ему великую милость, при-